

Полынь - сухие слёзы

**Анастасия  
ТУМАНОВА**



III

*Троицаю -  
отпускною*



Полынь – сухие слёзы

Анастасия Туманова  
**Прощаю – отпускаю**

«Автор»

2017

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Туманова А.**

Прощаю – отпускаю / А. Туманова — «Автор», 2017 — (Полынь  
– сухие слёзы)

ISBN 978-5-699-93859-9

Они горячо влюблены в Устинью – ссыльный дворянин Михаил Иверзнев и уважаемый всеми крестьянин Антип Силин... А она не на жизнь, а на смерть любит своего непутевого Ефима, с которым обвенчалась по дороге в Сибирь. Нет ему покоя: то, сгорая от ревности к жене, он изменяет ей с гулящей Жанеткой, а то и вовсе ударяется в бега, и Устинье приходится умолять суровое начальство не объявлять его в розыск...

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-93859-9

© Туманова А., 2017  
© Автор, 2017

## Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

56

## Анастасия Туманова Прощаю – отпускаю

Сумрачным мартовским утром 1857 года из ворот Рогожской заставы вышла большая каторжная партия. Впереди верхом ехал конвойный офицер, следом двигались арестанты в ручных и ножных кандалах, за ними – скованные с той же строгостью арестантки. Позади тащился обоз. По бокам покачивались в сёдлах конвойные казаки. Движение партии сопровождалось барабанным боем: в огромный барабан истово бухал невысокий дядька-солдат, весь вспотевший от усердия.

– Будет уж, Фролов, вышли, – бросил ему, проезжая мимо полосатых ворот, конвойный унтер.

Барабан умолк. Фролов с облегчением вытер лоб и улыбнулся:

– Ну, хоть не зря долбил, ваше благородие! Мне – и то бублика в карман сунули на Рогожке-то!

Казаки заухмылялись. Улыбнулся и конвойный, повернувшись в седле:

– Ну что, ребята, довольны?

– Много довольны, ваша милость, благодарствуем! – слышались бодрые голоса арестантов.

– А коль довольны, так по уговору!

– Знамо дело, ваше благородие! Очень вам благодарны. И за то отдельное спасибо, что через Рогожку провели, – сдержанно поблагодарил сутулый, сухой мужик с морщинистым обветренным лицом и обширной плешью.

Конвойный офицер, подъехав к нему, спокойно протянул руку. Арестант так же спокойно положил что-то в эту руку, поклонился. Офицер кивнул и поехал далее. Сутулый обернулся к прочим:

– Ну что, мужики? Врал я аль нет? Кто там со мной на полтинник спорил? Ты, Ефимка? Отдавай!

– Да на, лови, дядя Кержак, нешто жалко? – серебряный полтинник взлетел над головами каторжан и приземлился точно на лысину Кержака.

Тот тряхнул головой, поймал монету в ладонь. Под общий хохот озадаченно спросил:

– Нарочно, что ль, ирод?..

– Да какое! Само угодило так! – хмыкнул высокий парень с широченными плечами. Физиономия его была совершенно серьёзной, но в зелёных наглых глазах билась усмешка. – Вишь, дядя Кержак, какая у тебя плешь-то доходная – сама к себе деньгу тянет! Ты её береги смотри! Не то, не ровён час, волосьём зарастёт – по миру пойдёшь!

Каторжане опять заржали, а сам Ефим недоверчиво усмехнулся:

– Вон ведь как вышло-то! Не думали, не гадали...

Ефим Силин и его брат Антип шли на каторгу впервые. Когда ранним утром один из бывалых каторжан потребовал со всей партии по полтиннику «офицеру поднести», Ефим воспротивился:

– Это с какой же радости? Не дам, и всё! Я его вижу впервой! Детей мне с ним не крестить, на новом этапе другому нас сдаст! Не, дядя Кержак, извиняй – а не дам! У меня деньги в кармане яиц не несут, наутро новые не вылупятся!

Стоящий рядом Антип молчал, но на его лице тоже читалось недоверие. Точно такие же насупленные рожи были у остальных арестантов. Расставаться со своими кровными копейками никто не хотел. Но Кержак и ещё несколько бывалых бродяг хохотали от души.

– Вот что, Ефимка, давай спорнём с тобой! – отсмеявшись, предложил Кержак. – Моё слово – как с Москвы выйдем, у тебя в кармане вдесятеро больше будет! И тогда ты мне ещё

полтинник даёшь! Ну, а коль нет – я тебе его возвращаю, ты и не внакладе окажешься! Годится этак?

Ефим сощурился, чувствуя подвох. Но на него выжидающе смотрела вся партия, и он с неохотой согласился:

– Ну, леший с тобой, давай! Разбейте, мужики! Только смотри: обманешь – кулаком по репку в землю вгоню! Скажи хоть, за что офицеру платим?

– А за улицы хлебные да за барабан! – добродушно смеясь, пояснил Кержак. – Да не злись ты, сам увидишь! Пропал твой полтинник как есть!

Ефим переглянулся с братом, пожал плечами.

– Ты б поосторожней, братка, ей-богу, – вполголоса сказал тот, поглядывая на сумрачное, низкое небо. – Глянь, ещё Москву пройти не успели – а ты уже на деньги спорить взялся! Так они из нас ещё до Сибири всё по копейке вытянут: народ бывалый, ушлый... Вперёд думай!

Ефим сердито промолчал, подозревая, что Антип прав.

– Ништо, – чуть погодя ответил он. – Мы с тобой на пару, ежели захотим, всю эту кандальную братию на заборах развешаем.

– И будет тебе двадцать лет вместо десяти, дурень. Да кнута ещё схватишь. Аль мало оказалось? Сила есть – ума не надо...

Тут уж отвечать было нечего, и Ефим умолк окончательно.

Партия каторжан медленно потянулась по улицам Москвы. Офицер повёл их через Замоскворечье – богатое купеческое место. Барабанный бой разносился далеко по сонным улочкам и переулкам, и вскоре уже отовсюду слышались вопли детей:

– Маменька! Тятенька! Кандальников ведут! Несчастненьких ведут!

Захлопали ворота, заскрипели двери. Партия была вынуждена остановиться: узкую улицу перекрыла толпа баб, детей и старух. Идущий впереди Кержак невозмутимо выставил вперёд ящик для подаяния. В него полетели медь и серебро. Арестантам же совали пироги, яйца, хлеб и прочую снедь. Ефим даже испугался этих протянутых отовсюду рук. Он, как и другие, едва успевал неловко благодарить и рассовывать по карманам подаяние. Обернувшись, он заметил, что и женщин-кандальниц тоже обступили люди.

– Что ты, девонька... Что ты, куда такое отдаёшь?! Белый хлеб-то! Без спросу взяла, поди? На праздник, видать, припасено было? Мамка забранит, неси домой... – испуганно отпиралась высокая молодая женщина с серыми глазами.

Но девчушка лет десяти настойчиво совала ей в руки ковригу:

– Что ты, бери, бери! У тебя доля горькая... Тебе до самой Сибири, до гор высоких... Таковы муки принимать идёшь, да в цепях-то! – со взрослой слезой в голосе, качая головой, говорила девочка. – Ты возьми на здоровье, а у нас ещё есть! Мамка мне сама дала, вон она стоит! На праздник-то ещё напекём! Тебя как звать-то? Помолюся за тебя!

– Устиньей, милая... – прошептала женщина, не замечая бегущих по лицу слёз. – Спаси тебя Христос... И мать твою...

Затем барабан застучал опять. Партия повернула с Ордынки на Полянку – и всё повторилось вновь. С Полянки вышли на Пятницкую – и снова бегущие навстречу люди, сочувственные лица, пироги, хлеб, мочёные яблоки, деньги... Ефим не знал, что и думать. Он только переглядывался с братом, у которого тоже были совершенно ошалелые глаза.

– Да что ж это... – пробормотал он, машинально пряча в карман мятный пряник и не чувствуя, что его уже давно тихо, но настойчиво теребят за рукав.

Антип первым заметил низенькую старушку в потёртой ватной накидке и ткнул брата кулаком в плечо. Тот, вздрогнув, обернулся к бабке:

– Что ты, мать?

– Прими-ка, сыночек... Горяченький ещё, только что из печи вынула! – старушка протянула ему пахнувший на всю улицу грибами пирог. – Да за пазушку, за пазушку суй, если сразу

есть не хочешь! Долго там продержится... заодно и погреешься! Холодно нынче, будто и не весна... Ты за что идёшь-то, маленький?

Ефим запнулся, даже не усмехнувшись над «маленьким» (бабка едва доходила ему до груди). Язык не повернулся сказать вслух, что он идёт на каторгу за двойное убийство. Впрочем, бабка не ждала ответа. Опёршись дрожащими руками-лапками о локоть Ефима, она горьким шёпотом сказала:

– Сыночек у меня в Сибирь ушёл... Максимушка... Уж четвёртый год ни слуху ни духу... Ты, сынок, когда дойдёшь да, может, встретишь Максимушку моего, передай поклон. Скажи – жива мамаша и здорова, сестру Аннушку замуж на Покров выдала, кланяются ему все! Не забудь, сыночек, – Максим Фёдоров! Двадцать второй год ему после Рождества сровнится!

– За что сына-то забрали, мать? – хмуро спросил Ефим, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. – По пьяному делу зашиб кого?

– Что ты... Как есть тверёзый был! В сапожной мастерской подмастерьем мучился, так при расчёте хозяин его обидел. А Максимка не стерпел да колодкой его по лбу-то – хлоп! Из того и дух вон! Максимка-то – он как ты был, сажень в плечах косяя! Враз и забрали маленького моего... Коль встретишь его, сыночек, – кланяйся от меня!

– Поклонюсь, мать, передам... Ты... ступай домой, не мёрзни.

Напоследок бабка сунула Ефиму варежки – лёгкие, серенькие, вязанные из козьего пуха. Ефим показал их брату:

– Глянь! Добрые варьги... Только мне на один палец! Устье вот гожи будут.

Антип кивнул. Оба они одновременно повернулись к женской партии, но издали Устю было не разглядеть. Ефим сунул бабкин пирог в одну варежку, прикрыл другой и обратился к идущему рядом цыгану:

– Передай, коль не в тягость, к бабам... Устинье Шадриной.

Цыган с готовностью кивнул и тут же отправил пушистый свёрток дальше:

– К бабам, Устинье Шадриной, от мужа!

Варежки с пирогом пошли по рукам. Партия уже выходила за заставу, когда свёрток приняла красивая цыганка с весёлым и дерзким взглядом. Её красный платок съехал на затылок. В чёрной волне волос уже видны были серебряные нити – но цыганка была стройной и лёгкой, как девочка. На плечи её была наброшена пёстрая линиялая шаль. Из-под юбки торчали босые, сизые от холода ноги.

– Кому? Шадриной? От мужа? – она живо обернулась вокруг. – Эй, королевишны мои! Которая тут Устинья Шадрина?

Закованные по рукам и ногам «королевишны» молчали – и цыганка, с недоумением оглядев всю партию, сердито повторила:

– Устинья Шадрина кто будет, спрашиваю? Нешто в пересыльном её позабыли?

– Я Устинья, господи – я... – сдавленным шёпотом отозвалась наконец сероглазая. Она до сих пор всхлипывала, сжимая в руках ковригу белого хлеба. Цыганка протянула ей варежки и изрядно помятый пирог.

– Держи, зарёва, муж тебе кланяется! Да ты что воешь-то? Аль мало подали?

Устинья улыбнулась через силу, принимая подарок, но из глаз её снова побежали слёзы. Цыганка пожала плечами:

– Вот ведь дурная – ей муж пирога шлёт, а она слезами заливается!

– Да не лезь ты к ней, ворона! – в сердцах сказала баба лет сорока, с некрасивым, испорченным вмятинами и рубцами лицом. – Я с этой Устиньей два дня под замком сидела. Она и ржаной-то хлеб раз в году видала! В деревне своей с голодухи лебедой пузо набивала! Вот и сомлела, как ей белого подали... А ты обувайся наконец, дура копчёная! Сил нет на пятки твои синие глядеть!

Цыганка расхохоталась, доставая из заплечной котомки казённые коты.

– И ведь через всю Москву эдак прошла, гусь лапчатый, бр-р! – передёрнула плечами тётка. – Ничего ей не делается, босявке! Вы, цыгане, заговорённые, что ль, от мороза-то?

– Не цыгане, а цыганки! – важно поправила та. И вдруг, запрокинув голову, на всю заставу запела: – А я мороза не бою-ся, на морозе спать ложу-у-ся!

Голос был такой сильный и звонкий, что на песню обернулась вся партия вместе с конвойными: даже Устинья перестала плакать и восхищённо улыбнулась. Но цыганка перестала петь так же внезапно, как и начала, и хвастливо показала сердитой тётке свою раздутую от подаяния торбу:

– Видала, сколь мне накидали за мои ножки босенькие?! То-то же! Знаю небось, что делаю, всю жизнь с людской милости живу! Закон нам такой от Бога дан!

Устинья тем временем аккуратно убрала и хлеб, и пирог за пазуху.

– Да что ж ты не ешь-то, глупая? – пожалала плечами цыганка, шагая рядом с ней. – Пирог уж вовсе остыл... Ты жуй, до вечера-то долго идти!

– Не... Я потом... Я лучше оставлю! – почти испуганно отказалась Устинья. – Ведь когда ещё поесть-то придётся...

Конец её фразы утонул в звонком хохоте цыганки.

– У, глупая! – сквозь смех махала она руками. – Ты что ж думаешь, это последний раз?! Ой, ну уморила ж ты меня, изумрудная... Да тебе в каждой деревне столько же дадут! А ежели село богатое, так и втрое накидают! И на этап придём – тоже покормят! Харч хоть казённый, а сыта всяко будешь! Это тебе не у барина в лебеде пастись! Лопай, лопай, не мучься!

Устинья, однако, покосилась с недоверием:

– Да откуда тебе знать? Нешто не впервой идёшь?

– Впервой, как есть впервой, – усмехнулась цыганка. – На пару с мужем иду. Только наше дело кочевое, много чего видала. Где кандалнички прошли, нашей сестре гадалке делать нечего! Как есть пусто по хатам: всё арестантам снесли!

Устинья пожалала плечами, но всё же решилась отщипнуть от белой краюшки и бережно положила кусочек в рот. Цыганка перестала улыбаться, посмотрев на неё с искренним сожалением:

– Откуда будешь-то, милая?

– Смоленской губернии.

– Батюшки! И я оттуда! – всплеснула руками цыганка. – Это надо ж – мы землячки, выходит! Что – не веришь?! Я, покуда за своего разбойника замуж не вышла, с отцовским табором по Смоленщине ездила! Вдоль и поперёк мы твою губернию искочевали! Катькой меня звать!

– А скажи, тётка Катя... – осторожно начала Устинья, но цыганка снова перебила её смехом:

– Какая тётка? Просто Катькой зови! Тебе годов-то сколько? Двадцать есть? Ну, я в матери тебе не гожусь ещё!

Шли целый день под низким серым небом, под сухой снежной крошкой: март выдался холодным. Бабы с девками ругали кандалы, которые стёрли им ноги в кровь. Все страшно устали уже к середине пути, и начальство разрешило привал. У дороги запалили костры. Арестанты столпились возле них, обогревая замёрзшие руки. Среди мужской партии образовалось кольцо, в середине которого неторопливо вещал Кержак:

– В нашем деле арестантском артель – перво-наперво! Артели легче и с начальством договариваться, и промеж себя дела решать. Опять же, майдан общий у старосты держится. Я пятый раз на каторгу иду, и ни разу без артели не обходилось. Сами видите, как в Москве живо дело обладилось! И нам с барышом, и начальству доходно! Кто до Сибири уж хаживал, тот знает!

Несколько человек солидными кивками подтвердили его речь.

– А в старосты тебя, что ль? – с недоверчивой насмешкой спросил Ефим.

Кержак в ответ сощурился ещё ехиднее:

– На што меня? Становись ты, коль хошь! Сам с ундером порешаешь, сам ему своей спиной и отвечать станешь, коли непорядок какой, аль сбегит кто...

– Нашёл дурня-то! – отмахнулся Ефим. – Ведь, поди, через одного бегают! Отвечай за них, дьяволов, да ещё...

Закончить он не успел: бывалые бродяги заржали так, что на них сердито обернулся конвойный казак:

– Чего заготовали-то, черти? И мороз ить не берёт!

– Ничего, служба, не завидуй! – отмахнулся Кержак и, отсмеявшись, пояснил: – С этапа, парень, не бегают.

– Это отчего ж? – хмыкнул Ефим. – Коли я захочу – нешто меня вот эти, с кремнёвками, догонят?

– Может, и не догонят, – серьёзно ответил Кержак. – Только сам гляди: ты сбежишь – вся партия по твоей милости далее на одной цепи вереницей пойдёт. Аж до Сибири. Никакой поблажки от начальства уж не жди. Мимо деревень в обход поведут: враз живот к спине прилипнет. Да мало ль притеснениев начальство сделать может, коли его разозлить хорошенько!

Ефим подумал, переглянулся с братом. Неуверенно кивнул.

– Согласен?.. А теперь дальше смекай. Положим вот, подорвал ты. Положим, не свезло, и взяли тебя через неделю-другую. Часто этак бывает. И в ту же партию возвратили. А люди уже вдосталь намучились из-за тебя-то! Понимай теперь, что с тобой на первом же растахе сделают! Тут и сила твоя не поможет, коли тридцать одного метелят!

Ефим невольно передёрнул плечами.

– Всё правильно, дядя Кержак, – спокойно подал голос из-за его плеча Антип. – Коль артель – значит, артель, мы согласны. По скольку с носа-то требуется?

– По три серебром прежде полагалось. И вы мне, ребята, верьте: внакладе не будем, – пообещал Кержак. – Артель – это и арестанту, и начальству выгодно. Главное – договориться уметь! Они ж тоже не звери, не первый год нашего брата в Сибирь гоняют... Тоже понимают, сколь от нас вреда быть может, ежели несправедливое учуем. Наш брат кандальник на пако-сти-то гораздый, никого учить не надо! Помню, раз охвицер на этапе в баню нам не дозволил... Пятьдесят, вишь, рублей за то просил. А с какой же радости платить, коли нам баню по положениям устроить обязаны? Ну, мы для виду смирились... А как в поле отошли вёрст на десять – сейчас вся партия посреде дороги улеглась и идти напрочь отказалась! Даже бабы с дитяи! Охвицер бегаёт, орёт. Солдаты кремнёвки наставили – и чего? Всё едино не выстрелят, потому арестант – человек казённый и в него просто так тоже палить нельзя. Мы лежим не встаём, в небушко поплёвываем! Часу не пролежали, а уж охвицер сам согласился нам червонец дать, лишь бы мы поднялись и далее тронулись... У него ж – время, он нас по списку сдать на этапе должен, за задержку с него спросится! Так что ежели справедливость блюсти, то завсегда поладить можно. А какие деньги на этапе наваривают – сами в Москве видели! Кто на водку да на баб в пути не спустит – в Сибирь миллионщиком придёт!

– Больно они надобны в Сибири – миллионы-то... – проворчал Ефим, глядя на то, как в шапке Кержака исчезают их с Антипом шесть рублей. – Подтереться мне этим миллионом в руднике-то под каменюкой?

Но Кержак только пожал сутулыми плечами и усмехнулся:

– Бог не выдаст, парень. И в рудниках люди живут. Николи не знаешь, как твоя доля повернётся. Не серди Бога да начальство и живи весело.

– Вот и гляжу – довеселились уж... – сквозь зубы процедил Ефим, глядя на мелькающие в стылом воздухе снежные хлопья. На сердце у него было тяжело.

Миллионщиками они, видите ли, в Сибирь придут... А дальше-то что?! Тот же Кержак за полдня пути уже успел рассказать всем желающим о страшных рудниках на Каре и Акатуге. О тьме и сырости, о духоте, о тесных забоях, где только и места – размахнуться кайлом. О том, как страшно дрожит гора перед тем, как обрушиться на головы рудничных обвал камней, и не успеешь даже перекреститься – а душа уже отлетит... И слава богу, если отлетит, а не завалит тебя, ещё живого, так, что никому не дорыться, и – умирай с голоду впотьмах... Сколько Ефим ни старался, он не мог отогнать этих мыслей.

«И пусть бы меня одного... – зло думал он, шагая вместе с отдохнувшей партией и гремя кандалными цепями. – Я один Упыриху душил. Один и Афоньку топором уходил, гадёныша... А эти что?! Антипка не помогал даже! Устька – и вовсе рядом не стояла! А идут туда ж, куда и я... Где правда-то?! А начальство так ничему и не поверило...» Ефим только с горечью усмехнулся, вспомнив, как до хрипоты орал на допросах, стараясь убедить этих дураков, что вовсе незачем всем вместе пропадать в Сибири. Какое там! Оба и слышать ничего не хотели! Устинья решительно объявила, что она ему жена и обязана идти за мужем хоть на каторгу, хоть на смерть. Антип же преспокойно сообщил следователю, что дело они с братом обдeldывали вдвоём.

– Чего «вдвоём», какое «вдвоём»?! Ври, да не завирайся! – выходил из себя Ефим. – Я один всё делал!

– А я сторожил. Так и запишите, ваша милость... – следовал невозмутимый ответ. – И Афоньку я топором тюкнул. Тож запишите. Я подпишу с опосля, грамотный...

К частоколу этапного острога подошли уже в глубоких сумерках и под густым снегопадом. Усталых арестантов быстро разогнали по казармам: мужиков – в одну, девок и баб с детьми – в другую.

Оказавшись на нарах, Устинья вдруг обнаружила, что цыганки Катьки, к которой она уже успела привыкнуть, нигде не видно. Ей сразу же стало не по себе.

– Тётка Матрёна, а где ж цыганка-то наша? – пересилив себя, вежливо спросила она у рябой бабы.

– А ты не видела? – отозвалась та. – В каморку дальнюю её загнали. Видать, совсем уж что-то страшное сотворила, копчёная, – раз её отдельно запирают...

«Господи! – ужаснулась Устинья, вспомнив, что она целый день прошла рядом с этой «страшной» цыганкой и, хоть убей, не заметила в ней ничего опасного. – Не злая совсем... Весёлая... Пела как! И кто б подумать мог! Это что же хуже смертоубийства сотворить-то можно было?!»

Бренчание цепей вокруг не стихало. Вокруг возились с плачущими детьми или устраивались на ночлег три десятка женщин. Одна дёргала гребнем волосы, другая отпихивала к краю нар лежащую пластом соседку, третья плакала... Рядом с Устиньей сидела девка со спутанной косой, выпавшей из-под намокшего от снега платка. Она держалась рукой за щеку и, сгорбившись, тихо стонала. С минуту Устинья сочувственно наблюдала за ней. Затем, набравшись смелости, спросила:

– Чем мучишься, милая?

– Ох, отста-ань... – простонала та, почти не разжимая губ. – Всё едино не поможешь...

– Зубы болят?

– Спасу не-е-ет... Ещё в пересыльном начали... – Девка едва говорила сквозь слёзы, и Устя видела, что ей действительно худо. – А как цельный день по холоду прошла, продуло наскрозь, так совсем... Ой, матушки мои, помру этой ночью... Как бог свят, помру...

– Дай я погляжу! – подседа ближе Устинья. – Ты не думай, я умею! Хуже не будет, вот тебе крест, дай только гляну!

– Да ну ты, остуда... Ещё чего! – почти с ненавистью процедила девка и отодвинулась подальше. – Ишь, фершал нашёлся! Ой, мамонька, помираю-ю...

– Как знаешь, – огорчённо сказала Устя. Было тоскливо и жутко, хотелось плакать. Тихонько откусив от холодного зачерствевшего пирога, она подумала о Ефиме. «Он-то там с братом хоть... Всё не так страшно, да и кто их обидит, здоровущих этаких? А тут... Цыганка такой доброй показалась, а на-ко – опасная! И эти все... Тоже ведь не за ясные глазки сюда попали! И убивали, поди, и резали... Господи, как же теперь спать-то? Ведь глаза закрыть не на смелишься! В тюрьме, в одиночке, и то спокойней было...»

Долго предаваться тягостным мыслям Усте не дали: девка, которая мучилась зубной болью, с коротким звериным стоном повернула к ней перекошенное лицо:

– Слышь... Как тебя... Коли умеешь – давай... Хуже чем есть, уж верно, не сделаешь... Помру – и на том спасибо!

– Не бойся, – с облегчением сказала Устинья, придвигаясь ближе. – Как тебя звать-то? Марья? Ну и ладно, а я – Устя... Покажи. Вот сюда, под лучину, ложись. А лучше мне на колени голову положи. Ох, боже мой, да как же это ты?!

У Марьи оказался чудовищных размеров флюс, от которого разнесло втрое левую щеку. Десна раздулась и налилась гноем так, что страшно было смотреть. С минуту Устинья сосредоточенно рассматривала её. Затем подняла голову и, обведя взглядом женщин, решительно спросила:

– Милые, у кого ножик есть? А если бы ещё водки...

– Нешто водку пьёшь, красавица? – с усмешкой спросила тётка Матрёна. – Вроде молода ещё...

– Не пить, – коротко сказала Устинья. – И нужно совсем малость.

– У караульных узнаю, – сомневаясь, сказала тётка и пошла к дверям.

Вскоре она вернулась.

– Двоегривенный за стопку!

– Годится! – обрадовалась Устинья. – У меня и есть! Неси скорей!

– Ой, не дам резать! Ой, убери ножик, ведьма! – заблажила Марья, увидев, как Устинья прокаливает лезвие, медленно поворачивая его на пламени. – Ой, бабы, заберите её от меня, зарежет, к лешему! Ой, смертушка пришла, спасите-е-е!!!

– Не. Эта девка умеет. Знает, что делает, – вдруг сказала тётка Матрёна. – Ты, дура, лучше лежи да не дёргайся. Устька, не подержать ли её?

– Зачем? Не надо, – спокойно отказалась Устинья. И, глядя прямо в круглые от страха глаза Марьи, велела: – Ты не голоси, а меня слушай. Только каждое словечко, каждое-каждое... Ежели хоть одно пропустишь – заговор не поможет, а надежда-то на него главная! Слушай да не пропускай! А глаза лучше закрой, так слова в самый разум пройдут. Заговор прочту – а потом только с ножиком подумаем, может, и не придётся вовсе... Ну, с богом! Во имя отца-сына и Святого духа! Встану благословясь, пойду перекрестясь из избы в двери, из дверей в сени, из сеней в ворота, из ворот – во чисто поле...

Голос Усти звучал мягко, спокойно, напевно. Под монотонную речь сама собой накачивалась дрёма. И, когда измученная Марья наконец сомкнула глаза, Устинья резким и точным движением вскрыла нарыв. Хлестнул густой гной пополам с кровью. Марья издала дикий вопль, торчком села на нарах, замахнулась кулаком... И вдруг по её лицу расплылось выражение неземного блаженства.

– Ой-й-й... Царица небесная... Хорошо-то ка-ак... У-у-устька-а... Благодарствую, родимая!

– Всё! – Устинья, улыбнувшись, вернула нож хозяйке. – А крику-то было, шуму – ровно дитё малое! Вот теперь набери водки в рот, прополощи как следует – да не вздумай, дура, слот-

нуть! Вон туда, в кадку, всё выплюнь! Эх, кабы ромашка у меня была аль зверобоя настоей... Ничего-то сейчас ещё не сыщешь, так хоть водка пойдёт.

Испугавшиеся было каторжанки весело загомонили. Марья, выплюнув остатки водки в бадью у дверей, повернулась – и все увидели, что она красавица. Из-под изогнутых бровей смотрели припухшие от слёз большие карие глаза с густыми ресницами. Потрескавшиеся от холода губы были розовыми, пухлыми.

– Да ты красотка какова, когда без дули-то! – расхохоталась тётка Матрёна. – И за что таких касаточек в каторгу берут? Деревню, что ль, подожгла?

– Что я – басурманка какая? – насупилась Марья. Улыбки на её лице как не бывало. – Никакую не деревню, а барина порешила!

– Ишь ты, барина! – недоверчиво покачала головой Матрёна. – Кто ж тебя до него допустил-то?

– Сам и допустил, паскудник старый... – с непрошедшей ненавистью процедила Марья, обеими руками встряхивая косу и отбрасывая её за спину. Каштановая медь волос осыпала спину девушки густой волной. – На деревне меня увидал и враз сказал: «Двадцать шестой будешь, ягодка!» А другие двадцать пять у него в усадьбе жили... всю красоту с поместья себе собрал, греховодник! Ой, как мать-то моя выла, как отец у него в ногах валялся... Жених же у меня был, Васенька... С малых лет сосватаны были! Так барин Васю – в рекрута без очереди, отца – на конюшню, а меня – себе в комнаты полы мыть! И сразу же хватать начал, рассукин сын! А сам-то – старый, в чём только душа держится, плешивый, губа трясётся, слюни висят... И этак мне гадостно стало, что я его евонной же штуковиной... На столе там, тяжёлая, лежала... Из него и дух вон! А меня, грешную, сверху на него ещё и вытошнило! – Марья махнула рукой, горько усмехнулась. По её щеке медленно сползла одинокая слеза.

– Это что... А мы вот управляющего в яме закопали! – раздался голос из тёмного угла. – Таков же был, как барин твой. Как увидит девку справную – сейчас лапоть! А тех, кои ему перечили, заставлял колодцы рыть... Сучок немецкий! Ох, и надсадились мы над теми колодцами! У меня по сей день нутро ноет! А он, змеёныш, ещё придёт и смотрит, как мы жили рвём, усмехается... Да только зазеваешься – он за титьки-то и хватить! У-у... Надоел он мне этак, я его в сердцах в колодец-то локтем и пихнула! Только пятки брыкнули! Переглянулись мы с девками – и ну его землёй забрасывать! Он было прыгать, орать... Да нас-то восемь! Живо справились...

– Ещё бы – восемь-то! Как не справиться! – насмешливо дёрнула плечом девчушка лет шестнадцати. Её круглое лицо было испорчено глубокими ямками. – А я вот своими силами барыню на тот свет спровадила!

– Это она тебя этак? – глухо спросила Устя.

– Щипцами, – кивнула бывшая горничная. – И ладно бы меня одну... Но когда она за сестрёнку взялась! Нет уж, думаю, иродица, не дам тебе над Маланькой моей издеваться! Есть Бог на небе! Табуретку схватила – и как есть по башке! И ещё раз! И ещё! Башка-то и надвое...

– Господи! – изумлённо сказала Марья. – А я-то, грешным делом, думала, что одна такова буду! – Она вдруг вскочила и загоревшимися глазами обвела женщин. – А ну, бабьё да девки, кто не боится рассказать – за что каждая по Владимирке пошла?! Давайте, как на духу! Нам вместе небось не один годок коротать! Обчество знать должно!

Через час выяснилось, что из двадцати восьми каторжанок двенадцать осуждены за убийство или покушение на своих владельцев. Три не донесли на подруг и попали под статью о соучастии. Ещё несколько сторожили или помогали держать. Одна подожгла господский дом, приперев дверь, а заодно и ставни в комнате барина. Все эти были по приговору суда жестоко наказаны кнутом и сами дивились, что выжили.

Две молодые бабы сознались в том, что ночью, провалившись в мёртвый сон во время страды, «заспали» собственных детей. Другая крестьянка, отбиваясь от домогательства, неча-

янно убила своего свёкра кочергой. Белобрысая, в конопушках, девка-чухонка по-русски не говорила совсем, а жестов её хватило лишь на то, чтобы насмешить всю казарму. Чёрная и носатая еврейка поведала с неугасшей страстью о том, как держала шинок в Могилёве и съездила сковородой по уху вымогателя-пристава.

– Что «дура», что «на кой»? И ничего не «жидовская жила»! И вовсе не «всё племя за грош удавится»! Да кому это надо и кто это стерпит, я вас спрашиваю – по шесть разов в месяц ему платить?!

Только одна пожилая женщина, не сказав ни слова, легла и отвернулась лицом к стене. Никто не стал её теревить.

– Ну а я, бабы, не барина и не свёкра, а мужа законного прибила до смерти, – спокойно сказала тётка Матрёна.

– Что ж так? – опасливо отодвинулась от неё соседка.

– А вы на меня гляньте... Ведь места живого нет! Смертным боем всю жисть бил – вот только не принимал меня Господь! У меня все рёбры переломаны да срослись вперекось... А теперь? Вот, иду с вами в Сибирь... Нешто плохо? Думаю себе: что ж ты, дура, двадцать годов-то терпела? Битьё да муку примала?

– Твоя правда, – донёсся возглас от дверей. – Все мы тут поротые-перепоротые...

Матрёна кивнула, не дав договорить:

– Нет, девки, нашей сестре только и житьё, что на каторге!.. Я как в тюрьму-то попала – кажин день молилась и спасибо Богородице пречистой говорила! Самые светлые да спокойные мои денёчки то были! Лежишь – хлеб жуёшь, на допросы ходишь... Благода-ать!

Все расхохотались.

– Вот ведь притча-то... – вытирая слёзы и смеясь, говорила Марья. – Девки, что ж это мы за каторжанки негодящие?! Хоть бы одна за поджог на деревне аль за убийство по корысти какой... Устыка! Ты-то, случаем, не на большой дороге с кистенём грабила?

– Меня засечь насмерть собирались, – тихо создалась Устинья. – А муж мой не дал... Теперь он – за убийство, а я – за соучастие...

Договорить она не смогла: горло сдавила судорога. Но вокруг уже сочувственно кивали, и никто не требовал от неё продолжать.

– Вот ведь дела так дела-а... – Марья покачала головой – и вдруг прыснула: – Ой, девки, а я-то как боялась с вами на дорогу выходить! Как есть, думаю, со злодейками придётся идти! Страсть-то какая!

Вокруг расхохотались так, что стало ясно: подобные мысли посещали не одну Марью.

– А давайте, девки, вот что... Споём, что ли?

– А начальство-то не осерчает? – нахмурилась искалеченная щипцами Прасковья.

– Нешто мы бунтуем? – махнула рукой Марья. – И нешто начальство страшнее барыни твоей? Эх, цыганки нашей нет, у ней бы лучше получилось... Ну да уж как выйдет, – и она запела слабоватым, но звонким голосом:

Как у нашего попа, у рославельского,  
Повзбесилась попадья, посвихнулася!  
Наш рославельский поп был до девок добр!

– Нету денег ни гроша, зато ряса хороша! – подхватили те, кто знал песню. Устинья слышала её впервые и потому не подтягивала, но смотреть на поющую Марью было приятно, и сердце больше не ныло.

Ночью она не могла заснуть. Лежала, прижималась щекой к мягким, подаренным мужем варежкам, потихоньку отщипывала от своей краюшки, ёжилась от холода (прогоревшая печь быстро остыла), улыбалась, думала.

«Вон оно как вышло... Все мы тут одинакие почти. А я, глупая, тряслась... У мужиков, поди, по-другому... Мы-то все, как одна, впервой идём, а там-то бродяги есть – и по три раза, и по пять в Сибирь ходили! И убивцы настоящие, не то что мой Ефим... И как он там? Спит, поди, – тяжело нынче пришлось... Даст Бог, дальше легче будет. Вон еда какова хороша! Да каждый день! Да девки с бабами вовсе добрые... Жаль их, бедных... Да только всяко теперь лучше, чем на воле-то было! И им, и мне. Одно худо – с Ефимкой и не перевидаться никак... А вдруг и получится? Вон, за две гривны водки добыли враз! Может, так же можно и упросить, чтоб хоть поговорить с мужиком дали? Кабы законным мужем был, может, легче было б... А кто ж нам даст сейчас повенчаться-то? Узнать бы...»

Додумать Устинья не успела: звякнула откиннутая щеколда, скрипнула дверь. На пороге нарисовалась бесформенная фигура часового.

– Бабы! Которая тут Шадрина? Вставай, выходи!

Устинья испуганно вскочила:

– Я Шадрина! Чего надо, дяденька?

– Выходи!

Накинув платок и дрожа от холода, Устя вышла в сени.

– Чего надобно? Зачем побудил?

– Иди вон туда! – усмехаясь, приказал немолодой солдат, махая рукой на каморку в конце коридора, отгороженную рваной тряпкой. – Ступай, да пошибче!

– Ещё чего! – Устинья прижалась спиной к ледяным брёвнам. – Никуда я с тобой не пойду! Нет такого закона! Сейчас голосить начну, всё начальство вскочит! Я мужняя жена! Не смей трогать, охальник, не то как раз...

– Да ты сдурела, что ль?! – обиженно буркнул солдат. – Я те в дедки гожусь! Бежи, дурында, мужик твой тебя дожидается!

Устинья ахнула, рванулась мимо часового – и упала, запутавшись в тяжёлых цепях. Ручные кандалы оглушительно грохнули о чёрные доски.

– Да тише ты! – хохотнул солдат. – И впрямь унтера разбудишь!

Но она уже ничего не слышала. Вот метнулась в сторону ветхая занавеска, пахнуло вонью прелой соломы – и Устинью в крошечной темноте поймали знакомые, сильные, горячие руки.

– Устька... Господи... Игоша моя болотная! Сколько дён-то не видались?! Изголодался, как волк зимой... Сил уже никаких нет... Как ты? Ну, как ты без меня-то? Как шла нынче? Не забижали? Если чего, ты скажи, я этих баб одним пальцем...

– Ой, дурак... Ой, молчи... Ой, Ефимка, да как же? Да почему ж?.. – не могла поверить неожиданному счастью Устинья. – Ты как это сделал-то? Нешто можно?! Как бы потом нам с тобой хуже не было б... Может, назад лучше, пока не поздно?.. Ты как служивого уломал?!

– Велика мудрость... – громко засмеялся Ефим, и Устя поспешно зажала ему ладонью рот. – Мужики научили! Дай, говорят, ему гривенник, он тебе сам твою бабу выведет... Я сначала не поверил, думал – для смеху врут! А Кержак говорит: какой смех, когда у нас артель?.. Можно, Устька! Здесь за деньги-то всё, оказывается, можно! Хоть каждую ночь вместе ночуй. Никто и не спросит!.. А ты знаешь, что те, которы не первый раз идут, все разом кандалы с ног у себя постягивали?! В них, говорят, спать несподручно, нехай рядом полежат!

– Да ну тебя!.. Придумаешь тоже! – фыркнула Устинья. – Как это можно – без кузнеца-то?!

– Да ей-богу ж, поснимали! И ловко так! Сапоги стянули, портянки размотали – и железа уж на босой ноге болтаются! А потом один ногу с кандалом под дверной косяк подставляет – а другой плечом на ту дверь нажимает! Сплюснут эдак железку-то – и стягивают через пятку! Пособили друг дружке – и захрапели, как у тятки на полатях! Вот как бог свят, я завтра так же сделаю!

– Ой, господи... Подождал бы ты пока, Ефимка, а? – снова заволновалась Устя. – Экий варнак бывалый мне выискался... Доснимаешься «через пятку», гляди!

– Антипка тоже собирается! – заверил Ефим, и Устинья, слегка успокоившись, вздохнула:

– Жаль, бабам так же нельзя... Нас-то на голу ногу ковали, в тесное железо... – но тут же забыла обо всём на свете, прижавшись к широкой груди Ефима. – Господи, Ефим... Разбойничья твоя душа, нешто мы счастья дождались?! Да не рви рубаху мне, дурной!!! Жалко же!!! С утра уж пойдём, когда мне зашивать-то?! Да не сюда... Да не здесь же! Ох, пожди, я сама лучше...

– Да где ж тут у тебя?.. Тьфу, будь они неладны, железки эти... У бабы собственной не найдёшь чего надо! – Ефим, ворча и смеясь, стиснул свою невенчанную жену в руках – тёплую, дрожащую, живую... Всё, как во сне, который ночь за ночью сводил его с ума в тюрьме. Там казалось – не держать больше в охапке этой шальной девки... Не падать головой в горячую грудь, не целовать, не пить её взхлёб, как ключевую воду в жаркий полдень, не умирать от запаха – горького, сухого... – Устька... Видит бог, никого, кроме тебя, не надо... Помирать буду – не забуду... Полынь ты моя... Лихо лесное... Теперь уж – вместе! До смерти... Никому не отдам, убью... Сдохну – а не отдам!

– Да кто отнимает-то, глупый?.. Тише... И так твоё, всё твоё... Ох, Богородица пречистая, счастье-то... Вот тебе и каторга!

Уже перед рассветом зевающий солдат отвёл Устинью в камеру. Она прокралась в темноте на своё место, упала на нары рядом с Марьей и уснула мгновенно, со слабой, недоверчивой улыбкой на губах.

Утро принесло новые радости. Оказалось, что на этапе можно купить кожаные подкандалники. Поскольку деньги теперь у каторжанок водились, каждая уселась, шнуруя обновки.

– Вот ведь толково придумали! – нахваливала тётка Матрёна. – А я-то вчера весь день про сапоги думала... Так голенища-то под железо не пропихнёшь!

Хватило денег и на вторую нужную вещь: пояс с ремешком. Он позволял подвешивать ножные кандалы за середину. Теперь, когда тяжёлая цепь не волочилась по мёрзлой земле, идти было гораздо легче, и арестантки заметно повеселели.

Сразу же за воротами к Устинье пристроилась цыганка Катька.

– В «секретке» сидела, алмазная моя, где ж ещё... – с досадой ответила она на осторожный вопрос. – Мне, разнесчастненькой, теперь до самого Иркутска от вас отдельно ночевать! Да ещё на ночь на цепь к стене, как собаку, пристёгивают! У-у, чтоб им всем...

– Да за что же это, Кать? – испуганно спросила Устя.

Цыганка только махнула рукой и несколько минут шла, глядя в сторону чёрными угрюмыми глазами. А затем вдруг рассмеялась – так звонко, что Устинья подпрыгнула от неожиданности:

– Да что ты?! Блажная, что ль?

– Ой... Устька... Золотенькая, ты бы рожу-то эту видела... Того начальника, на которого я с ножницами-то в Медыни кинулась! Вспоминать почну – злюсь, не могу, так бы и убила, борова паскудного... А как морду его представлю! Он ведь под стол от меня залез, креслом загораживался да верещал, как поросё недорезанное! – цыганка вновь расхохоталась. Отсмеявшись и вытерев слёзы, уже спокойнее сказала: – Я тут, как ты: из-за мужика. Конокрад мой Яшка. Такой, что и могила не исправит! Видит бог, он в аду из-под самого Сатаны жеребца выкрадет! Ничего с ним не поделаешь, и сам не рад – а на чужую лошадь спокойно глядеть не может! Сколько раз его били, сколько раз вязали, сколько в полицию таскали... А уж сколько я его из тюрьмы вытаскивала – ой! За те деньги уж можно было ему цельный конный завод купить! Так нет – выйдет на волю, и за старое... И ведь дети у нас в таборе!

– Сколько? – с интересом спросила Устя, окидывая взглядом стройную фигуру цыганки.

– Четверо! всю жизнь трясусь, что они без отца останутся – а Яшке и горя мало! Ну да бог с ним, из сокола курицы не сделаешь... И вот в последний раз под Медынью споймали его. Да ведь как плохо-то вышло – он, когда от мужиков отбивался, одного так худо приложил, что тот башкой о колесо тележное – и дух вон! А Яшка-то нешто того хотел?! Отродясь он людей не убивал, вот тебе крест святой! – истово, несколько раз перекрестилась она.

– Да не божись, верю я!

Катька благодарно кивнула и продолжила:

– Ой! Мужики после этого вовсе озверели! Чуть не разорвали на месте! Слава богу, барин верхом прилетел, остановил... А за убийство-то каторгу дают! Я как сумасшедшая в тюрьму кинулась, к самому наиглавному начальнику пробилась, в ноги кинулась, завывала... Пожалей, кричу, родненький, что хочешь проси... Тысячу, говорит, принесёшь – вытащу. Ну, как я ту тыщу собирала – отдельный сказ, не хочу и поминать... Но собрала! Принесла. Из рук в руки отдала. Иди да жди, говорит, будет тебе твой мужик. Я поверила, пошла. Жду. А Яшки нет и нет! Целый месяц прождала – ничего! Опять на приём пробилась! – цыганка яростно лягнула кованым железом. – Ещё и пущать не хотели! Ну так я ж всё равно прорвалась! И кричу: «Отдавай, ирод, мужа – аль деньги назад подавай!» Так он ещё ногами топает! «Пошла вон, – орёт, – ты кто такая?! В первый раз её вижу! Гоните в шею!» – Катька недобро усмехнулась. – Это меня-то – гнать?! Да они меня, родненькие, впятером по кабинету ловили! Ой, сколько я там всего разнести успела! Ой, сколько переколотила! И чернильницей-то в окно заехала, и ещё чем-то там – в шкаф зеркальный... А под конец ножницы мне в руку попались со стола – и я теми ножницами начальнику-то – в рыло!

– Насмерть? – одними губами спросила Устя.

– Не... – отмахнулась цыганка. – Промазала, слава богу. Но тут уж скрутили меня да уволокли. И теперь мне, как и Яшке, каторга – за покушение-то. Шесть лет... Большой человек, мол! На службе, вишь, государевой! Да ещё, проклятые, написали в моей бумаге, что я – самая опасная и ко всякой пакости наклонная! Вот и запирают, как собаку бешеную... На всю ночь! Чтоб им самим на том свете так сидеть... Теперь до самой Сибири до мужа родного не дорвёшься! – На лицо цыганки набежала тень, она с сердцем пнула мыском грубой каторжной обувки снежный комок под ногами.

Устинья сочувственно тронула её за плечо. Катька повернулась к ней – и неожиданно улыбнулась во весь рот:

– Да ла-адно! Живы будем – не помрём, вот мой тебе сказ! Нам с Яшкой теперь лишь бы до Сибири дойти да весны дожждаться. А там – только нас и видели!

– Нешто побежите?

– Конечно! Нам домой, в табор надо! У меня старшей дочке уж пятнадцать лет, невеста вовсе! Не хватало ещё, чтоб она без нас замуж вышла! Обещалась подождать... Да когда ж это девки замуж ждали? Так что торопиться нам надо... Ой! Чёрта помянешь – он и появится! Ну, как ты здесь, проклятье моё?!

«Проклятье» уже шагало рядом и весело скалило большие белые зубы. Устинья устала на Яшку во все глаза. Было интересно, что же в этом мужике оказалось такого, что Катька раз за разом тащила его из тюрьмы и даже каторгу из-за него приняла? На взгляд Устиньи, цыган был самым обыкновенным: лохматым, смуглым, с озорными чёрными глазами.

– Здравствуй, красавица! – поприветствовал он Устинью. – Как дорожка?

– Слава богу, – растерянно ответила она. И сразу же испуганно спохватилась. – Ой! Катька! Дядя Яшка! А не боитесь вы? Солдаты не осерчают ли, что ты сюда... К нам...

– Чего им серчать? – с улыбкой отмахнулся цыган. – Смотри, уж все распозлись! Авось строем-то до самой Сибири не погонят!

Устинья огляделась – и убедилась, что вся партия действительно растянулась по мёрзлой дороге. Женщины шли рядом с телегами, на которых сидели их дети, мужья отыскивали жён. К её изумлению, ни конвойные казаки, ни офицер не обращали на это никакого внимания. А тут и её саму окликнул родной голос:

– Устька! Ну – как? Поспать-то успела хоть под утро?

– Поспишь с тобой, как же... – проворчала Устя, не замечая того, как губы сами собой расплзаются в счастливую улыбку.

Ефим же через её плечо сердито посмотрел на цыгана:

– А ты, конокрад недобитый, чего на мою бабу вытаращился? Смотри... Приложу железами по башке!

– Ефим!!! – ахнула Устинья. – Да что ж ты, ирод, напраслину-то... Вовсе ополоумел!

Цыган, впрочем, ничуть не обиделся и лишь покачал встрёпанной головой:

– Дурак ты, парень... Твоя Устька хороша – а моя цыганка-то получше будет!

Ефим машинально взглянул на Катьку. Та немедленно высунула длинный розовый язык и скорчила такую рожу, что рассмеялись все вокруг. Усмехнулся и Ефим. А цыганка сообщила Устинье:

– И твой – чурбан, и мой не лучше... А других-то не бывает! Ничего! Живы будем – не помрём и счастья добудем!

За день пути Катька не умолкала ни на минуту. Она успела поболтать с каждой из партии. Всем искренне посочувствовала, а некоторым даже умудрилась погадать. Устинья от ворожбы отказалась:

– Что там... Я про себя сама всё знаю! Ты вон лучше той погадай! С самой Москвы идёт – молчит, бедная... Никому из нас слова не молвила ещё! Верно, вовсе горе у тётки, что губ не разжимает... А видать, не из простых – вон какой на ней салоп хороший, да юбка новая! Может, хоть ты ей дух-то подымешь?

Катька сощурилась на «тётку», которая шла чуть поодаль от всех остальных, мерно гремя кандалами и глядя себе под ноги. Это была женщина средних лет с блёклыми, наполовину седыми волосами, гладко зачёсанными под платок, с сухим некрасивым лицом. Глаза её, близко посаженные, круглые и жёлтые, как у совы, внушали оторопь. Сходство усугублял и застывший немигающий взгляд.

Катька с минуту подумала – и решительно начала разговор:

– Что-то ты, милая, грустишь вовсе... Нельзя так, нельзя! Бог над нами есть, он не оставит! Посмотри на меня! Хочешь – про судьбу твою расскажу? Денег не возьму, вот тебе крест!

– Пошла вон, мерзавка, – тусклым, невыразительным голосом сказала женщина.

– Да за что же ругаешь? – пожалала плечами Катька. – Я тебе пока худого не делала. По-доброму говорю, дай погадаю...

– Мне не нужно твоё гаданье, дрянь! – с ненавистью отрезала та. – Отойди, от тебя воняет навозом!

Тут уж прислушались все. С лица Катьки пропала улыбка. С минуту она, сощурившись, смотрела в искажённое брезгливой гримасой лицо. Было видно, что цыганка ничуть не сердится. Затем она кинула взгляд на каторжанок и почти весело скомандовала:

– Вот что, красавицы! Тут – гадание тайное, египтянское, чужим ушам слушать незачем! Идите-идите... Кто подслушает – проклянута и понос напушу до самого Иркутска! А ты, милая, не сердчай попусту. Я тебе сейчас всё как есть скажу. И кто ты такая, и за что здесь. И что с тобой тут станется, ежели, к примеру, я...

Тут Катька понизила голос до шёпота, и никому не удалось услышать ни слова. Изумлённые женщины могли только наблюдать, как страшно бледнеет арестантка в хорошем лисьем салопе и как испуганно бегают её блёклые глаза. А Катька всё говорила и говорила. Умолкла она лишь тогда, когда на пронзительный визг обернулись конные казаки:

– Замолчи, проклятая! Я велю тебя... Хватит!!!

– Хватит, – согласилась Катька. – Только не забудь... Упредила я тебя, барыня моя брильянтовая.

И отошла не оглядываясь. Устинья растерянно смотрела в лицо цыганки: оно было незнакомым, презрительным. В чёрных глазах бился сухой и недобрый блеск.

– Господь с тобой, Катька... Чего ты ей наговорила-то?! Вон, она идёт злая-злая, а сама за сердце держится! Зачем напугала-то?

Катька угрюмо молчала. Затем, не глядя на Устинью, медленно, словно раздумывая, сказала:

– Ты вот что... Не лезь лучше к этой. И не заговаривай даже. Незачем.

– Да и не больно-то надо... – пожалала плечами Устинья, чувствуя, что цыганку сейчас лучше не трогать. И до самого вечера товарки прошагали молча.

К этапу пришли в сумерках. К общему унынию, в казармы никого не пустили, загнав всю партию на широкий этапный двор.

– Да что ж такое?! – ругались промёрзшие и голодные арестанты, ёжась от холода. – Совсем у начальства головы отсохли? Околеем ведь!

Конвойный офицер, впрочем, растолковал, что стояние это ненадолго: в казарме неожиданно зачадилась печь, и теперь придётся подождать, пока выветрится угарный дым. Услышав это, каторжане слегка успокоились и приготовились ждать. Но даже прыгать и махать руками, чтобы согреться, уже не было сил.

– Всё, бабы, сейчас прямо на снегу и засну! – убеждённо заявила тётка Матрёна. – Все кости гудут, сил нет... Будь она неладна, эта печь! Ох, не дай бог, у меня спину схватит! Не разогнусь ведь наутро, так глаголем и пойду!

Устя молчала: холод, которого днём она почти не чувствовала, теперь пробирал до костей. Вздохнув, она обернулась к цыганке:

– Вот ведь незадача-то, Катька! Как бы теперь не...

Она не договорила. Катька, глаза которой ясно блестели в свете поднявшейся луны, вдруг поочередно дрыгнула ногами. Промёрзшие насквозь коты под звон цепей полетели в разные стороны.

– Эй! Вы тут стойте-нойте, коли нужда, а я греться буду! По-цыгански! Яшка! Яшка, где ты там?! Сбага́са ту́са?!<sup>1</sup> Зима-лето, зима-лето с холодком...

– ...моя жёнка, моя жёнка босиком! – тут же отозвался из толпы её муж. Голос у цыгана оказался сильным и чистым. Он разом покрыл все звуки на дворе: и недовольное бурчание арестантов, и лязг железа, и детский рёв, и фыркание обозных лошадей. Катька топнула и взяла вдруг ещё выше – таким звонким, цемящим серебром, что у Устиньи чуть не остановилось сердце:

Ай, что ж ты вышел, грудь простудишь!

Да ты не бойся – моим ты будешь!

Ну! Мар! Дзя! Жги!!! И пошла, пошла по кругу, вкрадчиво переступая по утопанному снегу. Кандалы на её загорелых босых ногах ритмично брякали, но цыганка словно не замечала их. Ручную цепь она закинула за шею и лукаво задрожала плечами – будто начала свою пляску не на этапном дворе, а в родном таборе, у пылающего костра. Платок её сполз на затылок, выпустив вьющиеся волосы. Небрежным движением кисти цыганка поймала его, не давая упасть. Арестанты смолкли, любясь на плясунью. Один за другим они начали отступать назад, давая ей место. А Катька шла всё быстрее, била плечами всё чаще, улыбалась всё отчаяннее.

---

<sup>1</sup> Споём с тобой? (цыганск.)

Она блестела зубами так, словно и эта морозная ночь, и снег, и тяжёлые оковы – всё на свете было ей трин-трава.

Ходи, изба, ходи, печь!  
Хозяину негде лечь!  
Пляши, кнут, пляши, дуга,  
Веселися, кочерга!  
Пьяным море по колено,  
Голова недорого!

Ах, как она летала! Как сияли чёрные глазищи, как светились в шальной улыбке зубы! Минута шла за минутой, а Катька плясала и плясала без устали, под восторженные вопли толпы, и снег веером летел из-под её пяток, а от ветхой одёжки валил пар. С крыльца за цыганкой с улыбкой наблюдал конвойный офицер. Солдаты восторженно толкали друг друга локтями. Казаки привставали в сёдлах, чтобы лучше видеть летающий по кругу, смеющийся, бренчащий вихрь. А под конец пляски к жене пробился Яшка, встал фертом прямо перед ней – и, сощурившись, ударил ладонью по голенищу сапога: раз, другой, третий... И взвился в воздух, сверкнув бешеным и горячим чёрным глазом так, что арестанты шарахнулись в сторону:

– Вот ведь цыган... Улетит ведь! Сейчас с железами прямо и улетит! Ну и порода – ничего их, дьяволов, не берёт! Эй! Цыган! Яшка! Давай, чёрт, давай!!! Догоняй её! Гори, душа каторжная! Эх, мужики, кабы мне так... Неделю бы по ярмаркам с цыганами поплясал, а потом – хоть на плаху!

Катька повернулась к мужу, затрепетав плечами так, словно у неё вот-вот должны были вырасти и развернуться крылья. Яшка обеими руками взьерошил курчавые, засыпанные снегом волосы, снова хлопнул по сапогу и полетел за женой. А дальше они уже гремели цепями вместе под дикие крики и хохот всего двора. Никто даже не заметил, как распахнулись двери казармы и унылый голос прокричал:

– Запускайте, можно! Не дымит!

– Ну – и хватит с вас! – внезапно остановилась Катька. – Я согрелась – теперь вы идите грейтесь! Эй, миленькие, не примёрзли вы там? – резко обернулась она к солдатам. – Что такое? Рот не закрывается? Не помочь ли? Да поведёшь ты меня под замок аль нет, казённая морда?!

Подошёл расплывшийся в улыбке солдат и увёл плясунью в камеру-одиночку. Арестанты, ещё смеясь и покачивая головами, потянулись в казармы. Все хвалили Яшку-цыгана, громко восхищались Катькой:

– Вот ведь баба! Что значит – цыганка! Сколько времени тут по снегу скакала – и хоть бы что! Мы и про мороз-то позабыли...

– Видал, какова Катька у меня? – тихо спросил Яшка у Ефима Силина, заходя вместе с ним в казарму. – Где я ещё такую найду? Нет таких боле – ни у цыган, ни у ваших! И как вот мне теперь без неё два года ночью спать?.. Будь она трижды проклята, «секретка» эта ихняя!!!

Ефим пожал плечами и, видя в Яшкиных глазах горькую тоску, не решился ничего ответить.

\* \* \*

«...Владимир Сергеич отворил дверцы кареты, предложил жене руку. Помпонский пошёл с его тещей, и обе четы отправились по Невскому в сопровождении невысокого черно-волосого лакея в гороховых штиблетах и с большой кокардой на шляпе».

Никита Закатов дочитал вслух последние строки, опустил толстую книжку журнала на стол. Некоторое время, ещё не оправившись от прочитанного, смотрел в стену. Затем, вспомнив, что он не один, повернулся к жене:

– По-моему, прекрасно... Даже дух захватило! Как по-твоему, Настя, ведь здесь Тургенев... – Он не закончил фразы, увидев, что жена спит. Спит, откинувшись на жёсткую, неудобную спинку кресла и чуть приоткрыв губы. Неровный свет свечи выхватывал из полутьмы её скуластое, резкое лицо ногайской княжны, ресницы вздрагивали, но сомнений не было: графиня Анастасия Закатова забылась самым безмятежным сном. Некоторое время Никита смотрел на неё. Затем чуть заметно усмехнулся, поднялся из-за стола и, стараясь не скрипеть половицами, подошёл к окну.

Там, в густой темноте, лил дождь, стуча по крыше, шелестели листья полуоблетевшего сада: заканчивался август. Глядя, как искрятся в тусклом свете свечи сбегаящие по стеклу капли, Закатов думал о том, что незачем было мучить Настю чтением. Он и не собирался, зная, что это удовольствие мало кто способен разделить с ним – по крайней мере здесь, в Бельском уезде. Но жена сама попросила почитать ей:

– Может, так и в самом деле пойму что-нибудь? Брала я как-то раз книги ваши, Никита Владимирович, но совсем в голову нейдёт, не понимаю ничего.

– Зачем же ты взяла Вольтера? – удивился Никита. – Он и в самом деле труден. Тебе бы почитать что-то по-русски... романы... уж если вздумалось читать.

– А что, есть что-то приличное?! Никита Владимирович, может, тогда вы сами мне подберёте? Вы всяко лучше меня в этом смыслите...

Послушался. Подобрал. К счастью, в кабинете нашлась старая, ещё военного времени, книжка журнала «Современник» с повестью Ивана Тургенева, которого Никита очень любил. Ему подумалось, что и Насте покажется интересным этот сочинитель: тем более что повесть была небольшая. Сразу после ужина, дождавшись, пока зевающая девка уберёт со стола, они с женой сели у окна, и Никита открыл книгу. И с первых же строк провалился в неё, как в колодезь, как всегда проваливался в хорошие книги: с головой, забыв обо всём вокруг, забыв даже о Насте, на которую за всё время чтения и не взглянул ни разу.

«Сколько же она мучилась, прежде чем догадалась заснуть?» – с насмешливой горечью подумал Закатов, и тут же ему стало стыдно за эту насмешку. Ему ли судить Настю... Настю, которая в сто раз лучше его самого? Не будь её – он, Никита Закатов, сейчас сидел бы один в пустом доме, слушая храп дворни, в тысячный раз передумывая одни и те же мысли, мучаясь одним и тем же, страдая от того, что давно случилось – и к чему нет возврата... Вздыхнув, Никита оглянулся на безмятежное лицо жены. Снова повернулся к окну. И в который раз, ярко, беспощадно, словно это было вчера, а не два года назад, перед ним встал зимний холодный вечер в Москве, в Столешниковом переулке. Тот последний вечер, когда они с Верой вдвоём оказались в пустом доме Иверзневых. Той самой проклятой зимой, когда велось следствие по заговору против государя и был арестован Михаил Иверзнев – брат Веры и лучший, единственный друг Никиты.

Когда до Закатова дошло известие, что Мишка взят под стражу, он сразу же кинулся в Москву – хотя и знал, что помочь не сможет ничем. У него не имелось ни больших денег, ни высоких связей: графы Закатовы были нищими провинциальными дворянами, годами не вылезавшими из своей вотчины. И всё же Закатов понёсся в столицу, не задумавшись ни на миг. Молодая жена была оставлена одна в Болотееве.

Почти одновременно с ним в Москву, в семейный дом, прибыли братья и сестра Мишки. С утра Александр и Пётр убегали обивать пороги всевозможного начальства – а Никита всё время проводил с Верой. Вспоминая об этом позже, он удивлялся. Почему никто не счёл неприличным, что женатый мужчина и молодая вдова остаются наедине в пустом особняке? Вероятно, не до того было... Да и с Верой он был знаком с самого детства. Двадцать лет назад

замкнутый кадет Закатов сдружился в корпусе с Мишкой Иверзневым. Войдя в его дом, он был поражён жизнью весёлой дружной семьи, где все неистово любили друг друга. И очень скоро его стали считать здесь чуть ли не родственником.

Вера с утра до вечера бродила по комнатам – изнемогая от слёз и ожидания, с кругами под глазами, страшно подурневшая. Впервые Никита видел её в таком отчаянии. Михаил и Вера были очень близки и могли верить друг другу самое сокровенное: недаром Вера никогда не имела подруг, искренне не понимая, для чего они, когда у неё есть Мишка. Сейчас, когда встала угроза надолго, а может, и навсегда, потерять дорогого ей человека, Вера совсем упала духом. Она плакала без конца, то кружа по маленькой гостиной с зелёными портьерами, то сидя за столом с бессильно опущенной на руки головой, то скорчившись в комочек в огромном кресле. Если она и начинала говорить, то лишь о том, что всё это ошибка, чудовищная ошибка, в которой, конечно же, должны разобраться! О каком заговоре может идти речь, если Иверзневы – столбовая дворянская, беззаветно преданная престолу семья! Отец был рядом с Багратионом во время Бородина! Дед брал Измаил с Суворовым! Братья стояли на Малаховом кургане всего два года назад!.. Никите оставалось лишь поддакивать и соглашаться. В глубине души он отчётливо понимал, что никакие хлопоты уже не поправят дела. Но ни у него, ни у Петьки с Александром не хватало духу сказать об этом Вере.

В тот вечер Москву засыпало снегом. Из окна было не разглядеть ни забора с калиткой, ни старой липы в палисаднике. Весь мир, казалось, утонул в мутно-белой кутерьме летящих хлопьев. Закатов с Верой сидели за столом в тёмной гостиной. Мерно тикали старые часы на стене; изредка звонко шлёпалась капля воска с оплывшей свечи или принимался скрипеть за печью сверчок. С другой половины дома доносился слабый грохот посуды: зарёванная кухарка, у которой всё валилось из рук, кое-как пыталась состряпать ужин. Ждали Александра с Петей: с самого утра старшие Иверзневы уехали в приёмную графа Дубовцева, на которого возлагалась последняя надежда. Но время шло, наступил вечер, началась метель, а братьев всё не было.

Никита, едва справляясь с желанием закурить, то и дело снимал нагар со свечи, поглядывал в окно. Смотрел на бледное, осунувшееся лицо Веры. Что он мог сказать ей, как утешить? В голове царила торичеллиева пустота.

– В этих приёмных, Вера Николаевна, всегда столько народу, – вполголоса начал он, и голос его странно громко прозвучал в тихой комнате. Вера медленно, словно проснувшись, подняла на него измученные глаза. – Не удивлюсь, если Саша с Петей только сейчас и вошли к графу. Я сам, когда дело о наследстве утрясал, полдня в губернском правлении высидел, а это ведь не столица всё же была, а Смоленск! Я думаю, что с минуты на минуту...

– Никита, вы ведь знали об этом? – вдруг спросила Вера, и Закатов невольно вздрогнул. С самого своего приезда в Москву он ждал этого вопроса. Ждал и страшно боялся его, потому что знал: солгать Вере в лицо он не сможет никогда.

– Вы ведь жили здесь вместе с Мишей довольно долго... Кажется, год. – Вера смотрела на Закатова через стол блестящими от слёз глазами. – Нам ничего не было известно, Саша в Петербурге, Петя в Варшаве, я с детьми – в Бобовинах... Но вы, Никита? Вы ведь всё знали, не правда ли?

– Догадывался, – тяжело сознался он. – Но, признаться, не считал это серьёзным. Студенты, мальчишки... Собираются, болтают, хотят, как всегда, изменить дремучую нашу Россию... Поверьте, Вера Николаевна, он и мне ни о чём не рассказывал, у них там была какая-то клятва. Молчали, я уверен, все до одного насмерть!

Вера лишь горько улыбнулась, а Никита со стыдом вспомнил о том, что никогда и не пытался расспрашивать Мишку о его героической деятельности. Как знать, приступи он к Иверзневу всерьёз, тот, глядишь, и рассказал бы лучшему другу кое-что. Да Мишка ведь и его пытался привлечь! Сыпал многозначительными фразами о будущем России, о новых людях, которые всё перевернут и исправят, о том, что им выпала высокая честь вершить судьбу импе-

рии... А он, Закатов, и слушать не хотел всю эту высокопарную чепуху. А ведь мог бы послушать, со злостью на себя подумал он. Мог бы сообразить, что такие, как Мишка Иверзнев, ничего наполовину не делают, что уж если он вознамерился вершить судьбу империи – до самого конца пойдёт и не остановится, покуда башки себе не свернёт... Так всё и вышло. А лучший друг только смеялся, отмахивался и язвил... свинья. А ведь мог бы, наверное, остановить, вмешаться как-то, с запоздалой горечью думал Закатов. Да хоть Сашке в Петербург накатать донос обо всей этой якобинщине в Столешниковом переулке! И плевать, что Мишка после этого ему бы руки не подал – зато сидел бы сейчас, дурак, дома, а не в крепости! Однако что-то подсказывало Закатову, что ни старший брат, ни лучший друг не смогли бы удержать Мишку от того, чем была забита его голова. Да ещё и эта проклятая рукопись отца Никодима... Кто мог знать, что она так «выстрелит»? Надо же было этим злосчастным бумажкам попасть Мишке в руки! А кто, спрашивается, виноват?!

– Это всё из-за меня, Вера, – медленно произнёс он. Внутренний голос истошно вопил о том, что ещё не поздно заткнуться, помолчать, не жечь за собой мосты... Но огромные, чёрные, мокрые от слёз глаза Веры смотрели на Закатова через стол, и отступать было поздно. – Это из-за моего попа, из-за моих крепостных... Из-за моей преступной беспечности. Видите ли... Ох, право, не знаю, как и объяснить вам... Пока я здесь, в Москве, валял дурака, мужики в моём Болотееве жили хуже каторжных с этой отцовской управляющей... Упырихой, как они её звали. Сперва, как и положено, терпели и мучились – ибо Христос терпел и им велел. А потом, видимо, устали подражать Христу и – уходили Упыриху топором вместе с её... сердечным другом. И подались к барину, то есть ко мне, – Никита криво усмехнулся. – На Москву правды искать. Вчетвером – двое парней и две девки. А с собой у них была рукопись моего сельского попа... Эдакие записки обывателя со всеми ужасами, которые в Болотееве творились. Меня в Москве в это время не оказалось, рукопись попала к Мишке. И он не нашёл ничего лучшего, как отдать её своим друзьям! Почитали, повозмущались, начали списки делать... Списки эти пошли гулять по Москве, потом в Петербурге оказались...

Он беспомощно умолк, глядя в стол. Молчала и Вера, но Никита, не поднимая глаз, чувствовал на себе её внимательный взгляд. Часы на стене тикали, казалось, так оглушительно, что Закатов не понимал, отчего у него не взрывается голова от этого грохота.

– Оставьте, Никита... – пробился наконец к нему потухший, усталый голос. – Даже если это всё так... так, как вы сейчас сказали... В чём вы можете себя винить? Как можно было предугадать, предвидеть...

Но в это время глухо стукнула входная дверь, и в гостиную ворвался ледяной сквозняк. Послышался встревоженный голос кухарки, короткий ответ Саши – и в гостиную, не снимая заснеженных шинелей и фуражек, вошли оба брата Иверзневы. И по их лицам Закатов мгновенно понял: всё...

– Ну, что? – сорванным, чужим голосом спросила Вера, вставая из-за стола. – Что, Саша?.. Что у графа?! Саша, Петя, что?!.

Александр глубоко вздохнул... И вдруг ударил кулаком по дверному косяку так, что тот затрещал и на пол посыпались щепки. Ничего не ответив, он быстро, грохоча мёрзлыми сапогами, прошёл через всю гостиную в кабинет отца. За ним, выругавшись совершенно по-площадному, пронёсся Петька, хлопнула дверь... И Закатов вдруг увидел, что Вера, неловко цепляясь руками за край стола, съезжает на пол. Испугавшись – обморок! – он бросился к ней, нечаянно сбил на пол свечу, та погасла. И в полной темноте Никита схватил Веру в охапку, крепко, с силой прижал к себе, уткнулся в тёплые, пахнущие вербеной волосы... И – разом пропало дыхание, и пусто, холодно стало в голове.

– Так, значит, всё... Значит – бесполезно, бессмысленно... – отрывисто шептала Вера. – Значит, нет надежды... Граф отказал... Нет надежды, нет... Всё кончено...

Никита почти не слушал её. Ничего не отвечая, ни о чём не думая, целовал в темноте Верины ледяные руки, волосы, губы, мокрое от слёз лицо, – и сам не понял, когда, в какой миг эти руки захлестнулись на его шее. Содрогаюсь от рыданий, Вера прижалась к нему. Они что-то шептали друг другу, что – Никита, хоть убей, не мог вспомнить, хотя много дней спустя раз за разом вызывал в памяти тот вечер... За окном мело, вьюга свистела и голосила в печной трубе, – а они с Верой стояли, намертво прижавшись друг к другу в тёмной комнате, и сердце Закатова, оборвавшись, летело куда-то вниз, прочь, очертя голову...

А потом он увидел, что дверь кабинета открыта, жёлтый клин света падает на паркет, а в проёме неподвижно, как статуи, стоят Саша и Петька. Вера молча отстранилась от Никиты, опустила в кресло и замерла. Закатов вышел в переднюю, сорвал с вешалки шинель и, не надев её, вышел в ночь, в воющую пургу.

Он успел дойти до калитки и даже открыть её, когда распахнулась дверь дома и по заваленному снегом крыльцу скатился Александр.

– Никита! Чёрт! Стой! Ума лишился, куда ты? Стоять, говорят тебе! Старший по чину приказывает!

– Слушаюсь, господин полковник, – глухо ответил Закатов, останавливаясь.

Саша быстро подошёл к нему. Помедлив, тронул за плечо.

– Иди-ка, брат, в дом... нечего дурить. Тебя ещё нам не хватало.

– Саша, право, мне лучше уйти, – помолчав, сказал Никита. Снежные хлопья били в лицо. Но и без этого Закатов не мог бы сейчас поднять глаз на брата Веры.

– Не дури, – тоже не сразу повторил Александр. – Мы с Петькой не слепые... И не дураки. Подумаешь, секрет... все всё давно знают и понимают. И спасибо тебе, что ты Верку подхватил. Она и так эти дни едва держится, а мы, два болвана... всю дорогу совещались, как лучше её подготовить, и вот вам... Но, право же, зла не хватает! – вдруг взорвался он. – Мы на этого Дубовцева, как на апостола, надеялись, а он!.. Туша свиная трусливая в кителе! Каналья! Я ему прямо там, в кабинете всё в лицо сказал! Боюсь, даже в приёмной слышать было... Ну, да терять всё равно нечего. Кто меня теперь в Генштабе терпеть будет с младшим братом – государственным преступником? Подаю в отставку, и плевать на них всех! Я своё России отслужил – и честно, по-солдатски, а не по кабинетам! Петьке бы вот греха не вышло... Ну, что ты стоишь, сукин сын, марш в дом! Возиться тут с тобой ещё...

Никита послушался. Невозможно было спорить, глядя в застывшее, каменное от горя Сашкино лицо. Ночь Закатов провёл не раздеваясь, сидя верхом на стуле в своей комнате и уткнувшись лицом в судорожно стиснутые кулаки. И тяжёлым, дурным сном казалось то, что всего несколько часов назад он впервые в жизни целовал Веру Иверзневу... Веру! Княгиню Тоневицкую! И сам он был женат, и для них, ни разу не сказавших друг другу слов любви, всё было кончено.

Конечно, он не уехал. Конечно, дождался суда. И против воли восхищался Мишкой, который держался так спокойно, сдержанно и холодно, словно ему грозила не Сибирь, а отправка на кислые воды в Пятигорск. И таким же спокойным и холодным было лицо Веры, когда зачитывали приговор – пять лет на поселении в Иркутской губернии. Она лишь страшно побледнела и коротко взглянула на Никиту. А он... Он не мог даже пожать ей руку. И на другой же день, ни с кем не простившись, уехал в своё Болотеево.

... – Никита Владимирович, я, никак, уснула тут?

Вздвигнув, Закатов обернулся. Настя, потягиваясь в кресле, сонно смотрела на него.

– Немудрено. – Закатов потёр лоб, отгоняя остатки воспоминаний. Отошёл от окна. – Час уже поздний... Да и книга, вероятно, показалась тебе скучной.

– Скучной? – Настя пожалала плечами. – Отчего же... Довольно увлекательно. Тем более вы так хорошо читаете.

– Но ты ведь уснула тем не менее?

– Уснула, как только в самом деле скучно стало. А это уж было к концу.

Никита с невольным интересом взглянул на жену.

– Вот как? С какого же места ты заскучала?

– Да я же говорю – к концу. – Настя, подсев к старому зеркалу на стене, принялась поправлять растрепавшуюся причёску. – Когда она в пруд кинулась.

– Тебе это показалось скучным?! – поразился Никита.

Жена, почувствовав перемену его тона, обернулась, взглянула в упор чёрными раскосыми глазами.

– Так ведь когда непонятно – всегда скучно. Ну с чего, скажите, ей в пруд кидаться понадобилось? Вот я уснула, а вы мне скажите: господин Тургенев там дальше написал, что она сумасшедшая была?

– И не думал, – слегка обиженно возразил Никита.

– Так это она со здорового ума утопилась? Неужто не скучно?

– Ты ведь слышала, она полюбила человека, который оказался слабым... недостойным... А она любила его всем сердцем и просто не выдержала...

– Право, не пойму, чего тут было не выдержать, – с коротким вздохом отозвалась Настя. – Вы меня простите, Никита Владимирович, я совсем ничему не учена и книг никогда не читала, и потому по-простому, по-житейски рассуждаю. Что это за тягость такая, которой не выдержать? Да наши дамы в уезде через одну более тягостей выносят! У одной – муж-пьяница, бьёт её, бедную, как последнюю девку дворовую... У другой – того хуже, имение промотал, изволь теперь в приживалки идти на старости лет к собственной племяннице. У Марфы Семёновны единственный сын в последнюю кампанию погиб... Барышню Истратину за сумасшедшего мать выдала, потому что никто другой без приданого брать не хотел. У Сатиных дети один за другим мрут... И никто не топится, хоть убей! А тут что за притча? Уж коли господин Тургенев непременно хотел страстей напустить, то уж хоть бы, право, повод посерьёзней выдумал! Ишь ты, не того полюбила, да он не так себя повёл! Ваша барышня горя настоящего в жизни не видала, вот и всё моё рассужденьё!

Никита молчал, пристально глядя на Настю, обдумывая сказанное и понимая, что жена в чём-то права и в чём-то ошибается. Та, впрочем, поняла его молчание по-своему.

– Не обращайтесь внимания, Никита Владимирович. Если вы говорите, что повесть сия хороша, – значит, так и есть, вам лучше знать.

– Отчего же, ты имеешь право на своё мнение, – улыбнулся Закатов. – В нём есть здоровое зерно. Надеюсь, что ты никогда не бросишься в пруд из-за несчастной любви?

– Надеюсь, нет, – в тон ему отозвалась Настя. – Боюсь, что воспитание у меня не то. Вернее, его и вовсе не имеется... Вот и вам со мной скучно.

– Не наговаривай на себя, – помолчав, сказал Никита. Он снова смотрел в окно, за которым шелестел дождь, и отчего-то не мог заставить себя повернуться к Насте, хотя ни одним словом не врал ей. – Мне было бы безумно скучно и плохо здесь без тебя. Пожалуй, и впрямь можно было бы головой в пруд... Вернее, в нашу речку... Кабы она не была курице по колено.

– И дался вам этот пруд! – раздражённо всплеснула руками Настя. – Вот до чего чтение-то доводит! Один дурак сочинит под плохое настроение, другой – прочтёт да поверит, и вот – сейчас топиться да вешаться, будто других дел нет! У него семья-то хоть имеется, у господина вашего Тургенева?

– Позволь... Нет, кажется, – слегка растерялся Закатов. Сам он никогда не задумывался об этом. – Он, по слухам, влюблён в певицу Полину Виардо, живёт из-за неё за границей...

– Ну вот, видите! Сам в жизни не устроился – и другим нипочём не даст сочинениями своими! Вот хоть дурой набитой меня теперь считайте, Никита Владимирович, а эта повесть нехороша и даже, если позволите, вредна! Слава богу, мы с вами хотя бы люди взрослые и

семейные! А если бы эта книжка той же нашей барышне Истратиной попалась? Сей же час бы вообразила, что это так великолепно и шармант – сигать в воду по первому поводу! И ведь прыгнула бы! Лучше бы ваш Тургенев написал, в каком виде этих утопленников из пруда вытаскивают! Синих да раздутых, раками погрызенных, узнать нельзя! Сразу бы барышень от глупостей отвратил!

Никита невольно рассмеялся и протянул к жене обе руки.

– Ступай спать... Тебе старый резонёр Вольтер, я вижу, всё же на пользу пошёл.

– Да он и поумнее будет, – подтвердила Настя, поднимаясь из истошно заскрипевшего кресла. – Хоть я, впрочем, тоже не всё там поняла, худо по-французски читаю. Вы идёте спать?

– Сейчас. Ложись, я только погашу свечи.

Жена ушла. Никита убрал в шкаф журнал, заложив, однако, страницу, чтобы продолжить чтение назавтра. Начал было задувать свечи, но не закончил этого, оставив одну – нещадно чадящую, оплывшую до бесформенного кома. Взяв подсвечник, подошёл с ним к зеркалу. Привычно поморщился, увидев в неверном свете собственную физиономию: некрасивую, перерезанную рваным шрамом, полученным во время недавней Турецкой кампании. Вздохнув, подумал о том, что жена с её практическим умом права: любовь, вероятно, хороша только в романах. Как она минуту назад сказала ему? «Мы люди взрослые и семейные...» А Насте всего двадцать один год. И никакой любви за все эти годы она не видела и не знала. Может, и к лучшему для неё. Иначе разве она пошла бы за графа Закатова с его изрезанной рожой, хромой ногой и полудохлым именем? С отвращением взглянув напоследок на своё отражение, Никита дунул на свечу, поморщился от капнувшего на руку горячего воска и отправился спать.

\* \* \*

... – А ещё здесь, в Сибири, растёт такой бесценный корешок, который называется «женьшень». Не улыбайся, Устя, это по-китайски. В Китае и Маньчжурии его гораздо больше, но и у нас здесь должен попадаться. Он жёлтый, толстенький и похож на человечка с ручками и ножками... Волосатенький такой. Растёт обычно в низинах, где папоротники, в кедрах... А лист выглядит вот так! – Михаил Иверзнев достал из кармана пальто истрёпанную записную книжку и карандашик, начал набрасывать на ходу рисунок. Устинья, шагая рядом, пристально следила глазами за бегающим по бумаге грифелем.

– Надо ж... На нашу ежевику похоже!

– Похоже, но всё же не то. Ежевика – семейство розоцветных, а женьшень – аралиевых. В России он не растёт. А вот Юго-Восточная Азия, Китай, наша Сибирь отчасти...

– Так что ж – его здесь, выходит, найти можно? – взволнованно переспросила Устя. – И всё-всё этим корешком вылечить получится?

– Теоретически – да, найти возможно. Но женьшень попадается очень редко. Вряд ли ты его отыщешь во время этих ваших набегов за грибами.

– Я всё равно поглядывать стану, – твёрдо сказала Устинья – и задумалась. На её лбу, между бровями, появилась короткая морщинка. На своего собеседника она больше не смотрела.

Каторжная партия, которая почти два года назад вышла из Москвы, теперь подходила к Иркутску. Стояли тёплые и сухие осенние дни. Процессия арестантов растянулась по дороге, как нитка рассыпавшихся бус. Кандальные цепи мерно побрякивали в такт неспешным шагам. Конвойные казаки дремали в сёдлах. Каторжанки брели босые. Ещё в начале дороги, во время страшной весенней распутицы, они убедились, что с казённой обувью – одни мучения. Коты вязли и не держались на ноге. В конце концов даже городским арестанткам надоело выуживать неудобную обувь из глубокой грязи. Все покидали коты на обозные телеги и с облегчением зашлёпали по раскисшей дороге босиком. Обутой упорно шла только немолодая арестантка в

городской одежде, утратившей со временем приличный вид. За два года пути «барыня» так и не перемолвилась ни словом с товарками по партии. На растахах сидела отдельно. Смотрела в сторону неподвижными злыми глазами, молчала. К цыганке она и вовсе избегала приближаться, и Катька платила ей полной взаимностью. Арестанткам так и не суждено было узнать, что по Владимирке с ними шла знаменитая на весь Мещёрский уезд графиня Шевронская, которая замучила до смерти одну за другой шесть своих горничных. Дело вскрылось, и замять его взятками не удалось. Шевронскую судили, лишили дворянства и отправили в Сибирь.

Душой всей партии по-прежнему была Катька. Никто и никогда не видел её в плохом настроении. Если она не болтала, то пела. Если не пела, то смеялась. Если не смеялась, то разговаривала с мужем на своём языке, и с её загорелого дочерна лица весь день не сходила улыбка. Солдаты и казаки искренне восхищались её гаданием. Передавая цыганку с рук на руки новому конвою, они советовали воспользоваться случаем. Офицеры – словно по эстафете – слушали модные городские романсы, которые Катька откуда-то знала во множестве. Вместе с другими бабами цыганка шмыгала по тайге вдоль дороги, собирая ягоды или грибы. Отстав от партии, она неслась следом во весь дух – с кандалным грохотом и пронзительными воплями: «Подождите, бриллиантовые! Сокровище-то, сокровище-то главное ваше забыли!!! Как жить-то дальше без меня будете, яхонтовые?!» Конвойные покатывались со смеху, глядя, как запылённое, чумазое «сокровище», теряя грибы и бешено хохоча, с разлёту врежется в спину своего Яшки. С мужем она проводила целые дни, но на ночь Катьку по-прежнему запирали отдельно. Не помогали ни денежные посулы, ни слёзные уговоры. Только это и отравляло цыганке жизнь. Устинья от души сочувствовала ей, сказав однажды:

– И как ты, бедная, мучишься-то... Я без Ефима с ума бы сошла – столько-то времени! И ведь надо ж было этак попасть вам... А ты ещё вон весёлая какая скачешь!

– Да по-хорошему-то, пустяк это! – отмахнулась цыганка. – Я думала, Бог для меня похуже что выдумает. Пуще всего тряслась, что на детях отыграется...

Подруга не смогла скрыть удивлённого взгляда. Тогда Катька, вздохнув, перекрестилась и нехотя пояснила:

– Грех на мне, понимаешь? Тяжёлый... Уж лет шесть как висит, всю душу высосал... Не поверишь!.. Я ведь – когда мне каторгу объявили – даже обрадовалась! Вот оно, думаю! Заплачу сейчас сама по всем счетам – а детям моим тогда ничего не будет! Так что – пусть уж... Велика невидаль – с мужиком не спать! Да я дольше мучилась, когда он по тюрьмам ошивался! – Она снова широко улыбнулась, блеснув чёрными глазами. И Устинья отчётливо поняла, что больше Катька ничего не расскажет.

В самом конце партии тянулись обозные телеги. На одну из них было свалено имущество Иверзнева. Но ни узлов, ни старого чемодана не было видно под ворохом сухих, подсыхающих и совсем свежих пучков трав и кореньев. Задержав шаг, Устинья дождалась, пока телега нагонит её, и пошла рядом, осторожно перекладывая собранные растения. На её лице появилась слабая улыбка. Михаил продолжал следить за ней. Он не замечал, что на него самого уже давно в упор смотрит Ефим Силин. Взгляд Ефима был нехорошим, а зелёные глаза – стылыми, как октябрьская вода.

Устинья первая заметила взгляд мужа и сразу потемнела. Выпустила из рук большой пучок таволги, который до этого аккуратно расправляла, удаляя подгнившие листья, и быстрым шагом пустилась догонять партию.

– Ефим! Ефим! Да пожди ты, леший!

Тот остановился. Устинья, догнав, с разбегу ухватила за его плечо.

– Ну? Что опять надулся как мышь на крупу?

– Устька, доведёшь же. Я тебя и впрямь побью так, – не глядя на неё, сквозь зубы сказал Ефим. – И доктору твоему башку сверну, как курчонку. Сил достанет.

– И болваном выйдешь, – сердито сказала Устинья. – Ну чем ты себе башку забил?!

– Сама знаешь чем. Вся партия уж смеётся. Ты ещё давай к нему на телегу сядь и ноги свесь, как жена законная!

– Законная-то я тебе буду!

– Вот и вспоминала бы про то почаще. А то, гляжу, память вовсе коротка стала.

– Совесть у тебя коротка! – не сдержалась Устя. – Забыл, кому Михайла Николаевич лихоманку сгонял во Владимире? Забыл, как он у Антипа нашего вереды сводил?

– Ты сводила. Ты и лихоманку сгоняла, – усмехнулся Ефим.

– А снадобье-то кто приготовил и дал?! – вознегодовала Устинья. – У-у, ирод, никакой благодарности в тебе не обитает! Да на Михайлу Николаевича вся партия молится! Ведь не то, что мы! Барин благородный! А с каторжанами возится, как с братьями родными... Святой человек, а ты ругаешься всё!

– Святые на чужих баб не тарашатся.

– Тьфу, дурень ты, дурень! – в сердцах сплюнула Устинья. – Ну как с тобой толковать-то?! Антип Прокопич, да вразуми хоть ты его – терпелу у меня нет!

Старший брат Ефима, отставший на несколько шагов, только усмехнулся. Антип Силин вообще предпочитал помалкивать. Этот огромный парень с косою саженью в плечах не любил ни свар, ни ругани. Но за два года пути в Сибирь ни один из самых отпетых разбойников не решился на ссору с братьями Силиными. Ещё в начале пути Ефим и Антип вдвоём за минуту раскидали жестокую драку каторжан. Казаки из охраны подоспели, когда всё уже было кончено. Драчуны стонали и матерились на обочине дороги, а Ефим, ругаясь, зализывал царапину от ножа на предплечье. Его брат в это время без особых усилий удерживал в охапке Ваньку Кремня, укоряюще бурча при этом:

– Вздумал тоже, паря... Ножиком-то размахивать без ума... Этак же бог весть до чего домахаться можно! И живого человека порешить, не ровён час! Нет, брат, ты у меня смертного греха на душу не возьмёшь!

Ванька Кремень, у которого смертных грехов на душе было не счесть, бешено выдирался и пытался достать Антипа хотя бы зубами, но куда там... Охрана подобрала ножи, раздав на всякий случай полтора десятка зуботычин. Кремня по приходе в острог уволокли в «секретную», – и больше братьев Силиных никто не трогал.

– Чего нового-то сведала, Устя Даниловна? – с улыбкой спросил Антип, и Устинья улыбнулась в ответ. Сначала сдержанно, затем всё живее начала рассказывать про сказочный корешок женьшень.

– Вот найти бы! Горя бы не ведала, всё бы им лечить могла!

– Нешто мало сена надрала? – хмыкнул Ефим. – Вон – вся телега у барина твоей травой завалена! Копна целая, хоть корову заводи! Другие бабы – ягоды, грибы, а ты из леса всё травку тащишь...

– А лечить-то вас чем?! – рассердилась Устинья. – Да Михайлу Николаичу в ножки впору кланяться, что дозволил телегу свою под травы мои приспособить! Слава господу ещё, что осень бездождевая выдалась, не сгнило ничего! Прибудем на место – ещё неизвестно, что там да как, а от травок моих одна польза!

– Вот чует барин, чем тебя, дуру, взять, – с издёвкой сказал Ефим.

Устинья только всплеснула руками, не находя больше слов.

Некоторое время они шли не разговаривая. Антип искоса укоризненно поглядывал на брата, но не вмешивался. Чуть погодя он и вовсе прибавил шагу и ушёл вперёд.

Минуту спустя Ефим хмуро спросил:

– Ну – разбиделась, что ль, вконец?

– Много чести будет! – отрезала Устинья. – Ну, Ефим, хоть бы ты сам подумал-то! Что мне до барина? Что ему до меня? Пустяк... Только где же я ещё такое послушаю? Кто мне расскажет – про травы-то, да про коренья, да где искать, да как готовить?

– Ну, этому ты сама любого доктора научишь! – фыркнул Ефим. – Вы со своей бабкой всю округу лечили! Даже от господ к старой Шадрихе-то присылали...

– Мало этого, – твёрдо возразила Устя, – мне бы по-настоящему разуместь... Как господа... Михайла Николаевич вот говорит, что, если правильно взяться – всякого человека выучить можно! И грамоте, и любой науке, и делу любому! И меня тоже, только...

– Зубы он тебе заговаривает, вот что! – уже без улыбки, зло перебил Ефим. – А ты, дура, слушаешь да веришь! И последнее моё тебе слово, Устька, – перестань к барину бегать! Не то...

Устинья вдруг остановилась посреди дороги. Резко брякнули кандалы. Глаза, похолодев, стали серыми, как ледяная кромка на воде.

– Ну, вот что, Ефим Прокопич! Надоел ты мне! Всю душу вымотал по нитке! Да рассуди ты, что мы вместе с Михайлой Николаичем уж почти год идём! Хоть одна он ко мне, аль к другой какой с глупостями приставал?! Ну – вспомни! Ничего мы от него не видали, кроме уваженья! Хоть кого спроси – то же самое скажет! Ну, что, говори, – вру я?!

Ефим тяжело молчал, смотрел себе под ноги. Затем вдруг шагнул к Устинье и, прежде чем она опомнилась, крепко взял её за плечи.

– Устька! Устя! Вот ведь игоша разноглазая... Ну что ты, ей-богу, разошлась? Ну, коли обидел – прости... Только сил же нет смотреть, как он на тебя глядит! Ты-то и впрямь не замечаешь, в голове одни травки да корешки... Завсегда такая была... А я-то вижу, чего ему от тебя надобно! У него же глаз горит, когда на тебя смотрит! И как мне это терпеть-то, скажи?! Устька! Чего молчишь? Да ты что – впрямь осерчала, что ль?

– Что толку на тебя, анафема, сердчать... Всё едино не разумеешь ничего... – бормотала Устинья, отталкивая его руки. Но Ефим не отставал, и в конце концов Устинья перестала вырываться.

– Ну тебя, право слово... Что в лоб, что по лбу. Остолоп! – поймав парня за ухо, она сердито дёрнула его.

Ефим стерпел с усмешкой – проворчав, однако:

– Эку привычку взяла – законному мужу уши драть!

– И ничего ещё не законный! Можно покуда! Вот обвенчаемся – тогда и... Ефим!!! Да убери ж руки-то, бесстыжий, люди кругом!

– И чего? Ты мне жена! Вот доберёмся до Иркутска, окрутимся – и тогда ты у меня уже ни к какому барину не побежишь!

– Ну да! А сейчас я только и делаю, что по барам бегаю! День – с одним, ночь – с другим! – опять рассердилась Устинья. – И в кого ты сатана такой упрямый, Ефим?! И за что я только к тебе присохла? Доведёшь ты меня до гибели...

– Дура ты, Устька, дура... – Ефим крепко обнял её, прижал к себе. – Да кто у меня есть-то, кроме тебя? И кто мне ещё надобен? На всю жизнь к тебе, ведьме болотной, присуждённый, надо ж было эдак вляпаться...

– А я-то к тебе, разве нет? – сквозь слёзы улыбнулась Устинья. – Тоже ведь угораздило к такому разбойнику прилипнуть... Мало ль добрых парней было, так вот нет! Ну всё, всё, будет с тебя! Тьфу, измял только...

Устинья сунула руку за пазуху, извлекла изрядно помятый ржаной пирог.

– Хочешь вот?

– Ещё чего! Сама ешь. Давай, жуй! – велел Ефим. – Знаешь ведь, не люблю с горохом.

– Ух, порода ваша силянская! – Устинья аж задохнулась от негодования. – Зажрались, горох им уж не в радость!

Ефим только ухмыльнулся. Он крепко помнил: хуже той жизни, которой жила Устька дома, быть не может ничего. Но даже они с братом были изрядно удивлены лёгкостью этапной жизни. Оба они выросли на хороших харчах в богатом доме. Сносной кормёжкой их было не удивить. Но чем дальше их вводили от России, тем больше становилось дорожных вольностей.

Конвойные офицеры относились к арестантам снисходительно, позволяли привалы и в особенно жаркий летний день даже отпускали всю партию поплескаться в реке или озере. Подаяния и пожертвования в деревнях были такие, что Устинья диву давалась: «Ровно не крошечники, а святые апостолы по Руси движутся! И кто б только подумать мог!»

Так всё хорошо шло... И надо ж было этому барину на головы им свалиться! Ефим до сих пор скрипел зубами, вспоминая, как больше двух месяцев сидели на полуэтапе во Владимире, ожидая, пока пройдет карантин, – и как в день отправки соединились с догнавшей партией из Москвы. Когда все вместе тронулись по дороге, Ефим заметил, что к обозу прибавилась новая телега.

– Это кто там едет? – крикнул он. – Антипка, поглянь! С виду из бар!

– Может, кто по делу, – пожал плечами Антип. – Охвицер какой до места следует, да мало ль...

Ефим пригляделся. Лицо человека, который зябко кутался в потрёпанную пехотную шинель, показалось ему смутно знакомым. Но пока он напрягал память, рядом тихо ахнула Устинья.

– Батюшки! Богородица пресвятая! Да... как же это?!

Ефим оглянуться не успел – а жена уже летела назад по обочине дороги и кричала на всё поле:

– Барин! Господин Иверзнев! Михайла Николаевич! Да как же это, боже мой?!

– Вот так, Устинья, – спокойно и, казалось, без удивления ответил ссыльный. Спрыгнув со своей телеги, он ловко подхватил Устю, цепи которой спутались в шаге от него. – Вот... видишь, как встретиться довелось! Не знаю, как ты, а я рад! Где твой муж? И его брат? Они живы?

– Здесь... Оба здесь... – Устинья плакала и не верила собственным глазам. Как могло случиться, что Михайла Николаевич, студент, доктор, друг её барина... и вдруг – здесь? Среди кандалной партии?! – Да вы-то, господи, вы-то как же... Вы ведь благородный... С нами... На телеге... Да за что же?!

– Эй! Что ещё такое? А ну, на место! Ещё через город не прошли! – сердито окликнул её конвойный. – Ишь, кинулась! Не положено!

Устинья испуганно попятилась, успев лишь шепнуть:

– После, Михайла Николаевич...

И этих «после» потом оказалось столько, что и считать было невмочь!.. Спокойно ехать на телеге, как полагается благородному барину, Иверзнев категорически не желал. Весь путь он проводил на ногах, болтая с каторжанами обо всём на свете. Понемногу дошло до того, что Ванька Кремень во всех подробностях рассказал ему историю своей роковой любви к московской шлюхе и паскуде Аксиньке. Иверзнев сочувствовал и кивал. Старый бродяга Кержак, посмеиваясь, объяснял дотошному барину, как можно переплыть озеро Байкал в рыбной бочке и как отбиться от медведя, имея лишь разряженную кремнёвку. Михаил Николаевич от души восхищался. Цыганка Катька, заливаясь смехом, девять раз подряд спела ему песню «Ай, во поле во вечернем» – до тех пор, пока Иверзнев не сумел найти вторую партию. Катькин муж полдня объяснял Иверзневу, как стамеской отладить старому коню зубы «под молодого». Антип Силин – и тот не сумел отвертеться и был вынужден растолковать барину, почему мужики по деревням знать не хотят никакой воли, покуда им не нарежут земли. Всю эту болтовню Иверзнев старательно записывал по вечерам в свою потрёпанную книжку и подолгу сидел потом над своими записями. «И на что ему?.. Как бы не донёс по начальству-то...» – беспокоились поначалу арестанты. Но вскоре стало очевидно, что доносить на них чудной барин не собирается. Напротив, он как мог старался помочь товарищам по несчастью. На его телеге постоянно виднелись головки детей, следующих за родителями по этапу, лежали больные или присаживались просто уставшие. Постоянно Иверзневу приходилось лечить стёртые канда-

лами ноги, врачевать простуды, растирать мазями и гусиным жиром отмороженные пальцы. За своё лечение он не брал ни копейки – напротив, тратил на снадобья для недужных собственные деньги – и в конце концов молодого доктора уважала вся партия. У Антипа Силина он сводил вереды на пояснице какой-то мазью, на которую Устинья смотрела горящими глазами:

– Это ж надо... В три дня всё сошло! А я печёной луковицей полторы недели бы лечила! Это из чего ж сготовлено-то, Михайла Николаевич?!

И – понеслось... Ефим злился до темноты в глазах. Поначалу он думал, что барин просто смеётся над дурой-девкой. Но вскоре убедился – ничего подобного. Понемногу были вынуты и книжки из барского саквояжа, в которые Устька тарашилась с умным видом, будто чего сообщала, и без конца спрашивала о травках и корешках. «И не осточертели они ей за всю жизнь-то, травки эти! – выходил из себя Ефим. – А барин и рад стараться... Баба чужая ему зандобилась! Сукин сын...»

Хуже всего было то, что, кроме Ефима никто, казалось, ничего не видит и не понимает. Не одна Устинья могла поболтать с Иверзневым. Каждая из каторжных баб уже давно рассказала ему свою горькую судьбу, и рассказ этот даже был записан в известную всей партии чёрную записную книжку. Ни к одной из девок – даже к писаным красавицам – доктор не пытался приставать. Дальше задушевных разговоров дело не шло, за что каторжанки «понимающего барина» страшно уважали. Однажды Ефим, набравшись терпения, добрых два часа прошагал рядом с Иверзневым и Устиньей, слушая их разговор (оба не обращали на него никакого внимания), и, хоть убей, не услышал ничего похабного. Но по временам он ловил взгляды... Короткие взгляды доктора, брошенные на его жену. И цену этим взглядам Ефим знал. Это и мучило больше всего. «Она, глупая, не видит, не понимает... И никто не видит. А доктор-то повёлся на эти глазки! Собачий сын, отметелить бы ночью... Аль прямо сразу кандалами по башке приложить...»

... – Эй! Стой! Куда, дьявол?! Ах ты, чёрт, стоять! Сейчас стрелю! Стоя-а-а-ать!!!

– Да что такое? – растерянно замедлил шаг Ефим. Остановились и другие. Антип машинально придвинулся ближе к брату – как всегда, когда ожидалась свара. А впереди, за поворотом дороги, слышались испуганные и злые крики конвойных солдат. Потом ударили выстрелы – один, другой, третий... Подбежавшая Устинья схватила мужа за плечо:

– Господи, Ефим! Антип Прокопич! Что там стряслось-то?

Ответить никто не успел: в ту же минуту из-за поворота вылетели верховые казаки с криком:

– А ну, в кучу, разбойники! В линию становсь! Живо все! Живо, сказано, не то нагайками сейчас!!!

Было ясно: случилось что-то невероятное. Ещё ни разу за два года пути каторжную партию не сгоняли так стремительно в кучу и не брали в оцепление. Из леса выгнали перепуганных баб, которые собирали грибы к ужину. С телег посталкивали больных и «семейных». Люди прижимались друг к другу, недоумённо переговаривались:

– Да что случилось-то, крещёные? Чего они всполошились? И Фёдор Ипатьич где?

Конвойного офицера между тем рядом не было, а обозлённые солдаты отвечать на вежливые вопросы отказывались.

– Да не дёргайте вы служивых! – рявкнула наконец Катька, поглядывая сердитыми чёрными глазами в лес. – Ванька Кремень утёк!

– Да ну! Брешешь! – сразу же обступили её.

– Да чтоб мне околеть! Прямо у меня на глазах в кусты кинулся!

Вся партия стояла неподвижно посреди дороги и ждала до тех пор, пока из леса не показалось с десяток солдат во главе с конвойным офицером Аносовым. По их сумрачным, вспо-

тевшим лицам было понятно: беглеца не догнали. Аносов держал в руках сброшенные кандалы Кремня.

– А ну, становись на пересчёт, висельники! – тяжело дыша, велел он. – И чтоб без фокусов мне!

Прямо посреди дороги начались переключки и пересчёт. Это всё заняло довольно много времени, и арестанты, ожидая выкрика собственной фамилии, вполголоса переговаривались. Половина партии утверждала, что Ванькиного дёра в кусты вполне стоило ожидать. Второй год Кремень не мог успокоиться из-за своей брошенной в Москве подруги.

– В Москву мне надо... В Москву мне надо, ребята, назад! – то и дело слышали от него. – Спасу нет... Аксинька у меня там! Как она без меня-то, шалава проклятая? Что с ней станет, покуда я до Иркутска-то добреду?

– Да уж, пооди, давно с кем другим связалась, не мучься, родимый! – «утешал» кто-нибудь, и Кремень темнел. Однако терпел: с этапа не бегали. Но в августе каторжане надолго застряли «в пересыльном» из-за холерного карантина. Теснота была страшная, а две недели спустя подошла ещё и новая партия. Кремень обнаружил среди прибывших своих московских знакомцев. После разговора с ними Ванька вернулся на свои нары злым как чёрт и весь вечер провалился вниз лицом. Оказалось, Аксинька спуталась с богатым купцом и всю гуляет с ним по трактам.

После тяжёлого известия Кремень ни с кем не перемолвился ни словом, чернел на глазах и о чём-то неотрывно думал. Все были уверены, что он убивается по изменнице, и в душу к Ваньке не лезли. И вот – здравствуйте, святая Троица!

– Подался Кремень до Москвы, до своей Аксиньки... – цедил сквозь зубы Ефим. – А ведь как хорошо шли-то! И начальство понимающее, и брало по-божески, и позволяло много чего... А теперь – всё!

Начальство и в самом деле было понимающим. Фёдор Ипатьич Аносов ходил по этапу всю свою жизнь и каторжан знал как облупленных. Семьи у Ипатьича не было, а посему брал он скромно и народ попусту не мучил. Арестанты хорошее обращение ценили и старались платить той же монетой.

– Ведь это ж последний переход его, Фёдора Ипатьича-то, – поведал братьям Кержак. – За двадцать пять лет николи у него не было, чтоб с этапа дёрнули! Я сам с ним ходил лет с десятков назад, и всё чинно-благородно было! А теперь что? Ему нас по бумагам на этапе сдавать, а окажется – хват! – и человека нету! И накроется ему вся пенсия, а за что? Экое несправедливие...

– И что, поделаться ничего нельзя? – напряжённо спросил Ефим. – Может, нам всем скинуться да умастить его?

– Не пойдёт, – ожесточённо скребя в затылке, выговорил Кержак. – Что ему с нашей деньги, коль старость спокойная шайкой накрывается? Нет, тут другое надобно... Счас. Не троньте меня минуту, ребята... подумаю.

Через четверть часа от партии каторжан отделились Кержак и Яшка-цыган. Конвойные тут же наставили на них дула:

– Назад, дьяволы! Мало вам?!

– Не шумите, – веско сказал Кержак. – Нам Фёдору Ипатьичу слово молвить.

– Чего вам ещё, черти? – к арестантам подошёл мрачный Аносов.

– Разговор имеется, ваше благородие!

– Совесь у вас лучше бы имелась! – вспылит офицер. – Ну, чего вам, ироды? Каку-таку ещё радость мне приготовили? Всё, кончилась слобода ваша! Теперь пойдёте, как по закону положено, ежели человеческого обращенья не понимаете! Я с вами по-христиански, а вы...

– ...и мы весьма соответствуем, – сдержанно ответил Кержак. – И очень даже ваше расстройство нынешнее понимаем. Тем более что и нам оно накладно выходит.

– Так как же ты, сукин сын, допустил?! А ещё старшой в партии!

– Ваша правда, безобразияе сущее вышло. Виноват, недосмотрел, – пожал сутулыми плечами Кержак. – Но, на наш взгляд, всё ещё поправить можно... ежели, конечно, ваше благородие дозволит.

– Поправить, говоришь? – недоверчиво сощурился Аносов. – Это как?

– А вот, цыган божится, – Кержак с чуть заметной усмешкой показал на Яшку, – что в одночасье вам того Кремня изловит.

– Врёшь, – убеждённо сказал Аносов, глядя в смуглую нахальную физиономию конокрада. – Поди прочь, не то обеззублю!

– Воля ваша, Фёдор Ипатьич, не вру! – усмехнулся цыган. – Дозвольте облаву сделать! Далеко он по тайге уйти не сможет! Дайте мне людей – и поймаю вам его! Прямо вот из партии, кого помоложе да покрепче, десятка два! Ну, и для верности Катьку мою! Цыганка – баба лесная, у неё чуй, как у лисицы! Враз того Кремня вынюхает, ежели по следу пустить!

– Угу... а ружжо тебе в придачу не выдать? – хмыкнул Аносов.

– Без надобности, – в тон офицеру заметил Яшка. – Я по живым людям палить не обучен... Да и нужды не будет. Да вы не бойтесь, Фёдор Ипатьич, не уберём!

Через час облава была готова. Три отряда разошлись веером. В одном были солдаты, которые пошли прочёсывать чащу цепью. В другом – спешившиеся казаки. Обозлённые арестанты рвались искать беглеца все до единого, но Кержак с Яшкой взяли только молодых и здоровых. Два десятка каторжан торжественно забожились, что вечером вернуться к месту привала, деловито посбрасывали с ног приплюснутые оковы и резво углубились в тайгу. Следом, звеня цепями, побежала Катька.

Над вековым лесом висело хмурое октябрьское небо. Блёклое солнце стояло ещё высоко. Братья Силины шагали рядом с Яшкой.

– Слушай, цыган, да с чего ты взял, что Кремня сыщешь? – с сомнением спросил Антип. – Лес-то – не лукошко, наугад иголочку не вынешь... Может, он, покуда мы считались да собирались, уже с десятков вёрст отмахал...

– Кто – Кремень? – коротко хохотнул Яшка: блеснули белые зубы. – И господь с вами, земли... Кремень – он же московский! Отколь ему тайгу знать? Тут ведь умеючи надо! И знающий человек, не ровён час, сгинет, а уж городская птица... Опять же – путь верный держать надо. По солнышку, аль по мху на деревьях...

– Ну, ты нас-то хоть не учи, – проворчал Антип, напряжённо вглядываясь в сплетение суковатых ветвей. – Мы-то тож по лесам блукать обучены. Я вот другого уразуметь не могу – как в городах-то ваших люди не теряются! Одна вёз с тятёй пшеницу к дядьке в Гданьск... – Он умолк, заметив, что цыган его не слушает. Словно неведомая сила увлекла Яшку в сторону – к прогалу. Потом отчего-то его понесло влево. Катька повторила этот зигзаг, словно привязанная на тонкой, невидимой бечёвке. Глаза её неотрывно следили за мужем. Она шла следом шаг в шаг – не замечая ни острых сучьев валежника под босыми ногами, ни скользкой палой хвои... Антип коротко взглянул на эту пару и хмыкнул. Придержал брата за плечо:

– Погодь...

Ефим остановился. Проводил глазами Яшку, который без единого слова свернул в кусты. Изумлённо посмотрел, как исчезает вслед за ним Катька.

– Антипка... они чего? Тож, что ль, в бега ударились? Глянь – как сговорились... Может, покуда не поздно, придержать их?!

– Выдумал тоже... – махнул рукой Антип, пряча улыбку в серых спокойных глазах. – Сами вернуться к вечеру, куда денутся. Я смекаю, Яшка для того Катьку и выпросил, чтоб полюбиться хоть малость. Их ведь друг до друга с самой Москвы не допускают! Два года почти – шутка ль?

Ефим невольно вздохнул, покосившись на заросли, в которых пропали Яшка с женой. И молча зашагал вслед за братом.

... – Ой... Яшка... ой, мэ мэра́в, дэвлалэ... Аканá мэ мэра́в, совлахáва!<sup>2</sup> Ой, что ж ты делаешь, чёрт, стой... О-о-о, дэвлалэ-э-э... Миленько, миленько мирó-о-о<sup>3</sup>...

– Катька... Катька... Два года без тебя, дура... Два года! Как не помер, не знаю... Дэвла, как пахнет от тебя... Как раньше... мёдом гречишным... Не судьба мне без тебя остаться... Бог про то знает... он и вот сейчас... Тихо!!!

Последнее слово муж сказал вдруг таким голосом, что Катька враз умолкла. И застыла, вжавшись спиной в колкую холодную почву. Радостный шёпот замёрз в горле, от страха похолодели пальцы. Но она много лет была замужем за конокрадом и сейчас по одному короткому его слову затихла, замерла, готовая лежать так хоть до завтрашнего утра. Она боялась даже охнуть от боли, хотя муж прижимал её к земле всей тяжестью и, казалось, вот-вот расплющит, как лягушку. Прошло несколько минут, прежде чем она решилась спросить чуть слышным шёпотом:

– Что, Яша?

Он нахмурился: молчи! И показал взглядом влево, в густой кустарник на краю болотца. Катька скосила глаза – и обмерла. Там, возле огромного, с повисшими корнями выворотня, шевелилось и ворчалось что-то мохнатое, тёмное.

– Рыч?<sup>4</sup> – одними губами спросила Катька. Муж кивнул, и оба застыли. Шевельнуться и, не дай бог, звякнуть цепями в эту минуту означало верную гибель. Можно было только слиться с этой мокрой палой хвоей, с ветвями, с корнями, с птичьим писком. И ждать.

Цыгане лежали так долго. Солнце медленно двигалось над их головами, путаясь в ветвях вековых сосен. Паук над самыми глазами Катьки успел сплести целую паутину и засел в розетке жёлтых листьев, ожидая первой жертвы. Прямо над затылком Яшки дятел долбил сухой сук. Труха сыпалась на чёрные курчавые волосы цыгана: он не стряхивал её. Неслышно, сизой лентой, протекла мимо гадюка. А медведь всё не уходил: до Катьки доносилась его возня и ворчание. Казалось, прошла целая вечность, пока огромный зверь не кончил терзать трухлявое бревно и не пошёл, переваливаясь, к болоту.

Яшка на всякий случай подождал ещё немного. Потом осторожно приподнял голову. Долго вслушивался в тишину вокруг. Затем облегчённо перевёл дух. И наконец-то решился освободить жену.

– Жива, лáчинька?<sup>5</sup>

– Фу-у-у... В блин раздавил меня, леший... – простонала Катька, растирая ладонью плечи и грудь. – В меня ещё и железка твоя воткнулась! Ну что же это за...

Договорить она не успела: со стороны болота донёсся отчаянный хриплый вопль. Сразу же вслед за ним раздался грозный рёв зверя.

– Ох ты ж... – бормотнул Яшка. И – пружиной взвился на ноги, выхватил нож.

– Яша! Ой! Яшка! С ума сошёл, куда?! – вскинулась Катька. – Стой, зачем?!

Но какое там! Муж уже летел, ругаясь на весь лес, туда, где снова и снова раздавался полный ужаса крик. Катька вскочила и понеслась следом.

Они почти одновременно выбежали к болотцу – и застыли. В нескольких шагах от берега, на мшистой кочке, держась рукой за чахлый ствол, стоял Ванька Кремень. Он был без шапки, мокрый, щека – в крови. Серый армяк полосами свисал с плеча. Кремень дико озирался вокруг,

<sup>2</sup> Ой, я умираю, боже мой... Я сейчас умру, клянусь! (цыганск.)

<sup>3</sup> Господи... Миленький, миленький мой... (цыганск.)

<sup>4</sup> Медведь? (цыганск.)

<sup>5</sup> Хорошая. (цыганск.)

явно прикидывая, куда бы ещё прыгнуть, но со всех сторон его окружала ржавая вода. А прямо через болотце, переваливаясь на мохнатых лапах, к нему шёл медведь. Когда расстояние между ними сократилось до трёх аршин, Кремень снова отчаянно завопил и дёрнулся было в сторону – но нога его сразу ушла по колено в воду.

– Стой, дурак, где стоишь! – заорал Яшка. Набрал побольше воздуха... и вдруг закричал-запел на всё болото так истошно, что с дальней кочки испуганно взметнулась стайка уток. – Ай, да мои ко-о-о-они!.. Да пасу-у-утся в чистом по-о-о-о-оле-е!!!

Оглушительная песня скачками понеслась по воде. Медведь замер. Медленно, всем телом повернулся на новый звук. Некоторое время, казалось, раздумывал. Затем не спеша пошёл назад. Прямо к Яшке.

У Катьки остановилось дыхание. Стоя на краю полянки, в зарослях болотного багульника, она беспомощно смотрела на то, как медведь двигается к её мужу. Вот зверь подошёл так близко, что до Катьки донёлся отвратительный запах из его пасти. Поднялся на задние лапы, грозно заворчал. Яшка мельком взглянул на жену – и ухмыльнулся вдруг широко и отчаянно, блеснув крупными зубами. Переложил нож из левой руки в правую, чуть пригнулся и оскаллился точь-в-точь как медведь. И сделал первый шаг. Медведь взревел... И тут Катька пришла в себя.

– А-ай-й-й-я-я-я-яй-и-и-и-и!!! – взлетел над болотцем пронзительный «ведьмин» визг, сопровождаемый грохотом кандалов. Это оказалось так оглушительно, что зажмурился даже Кремень на своей кочке. Медведь недоумённо повернул голову – и в тот же миг Яшка бросился вперёд. Взметнулась рука с ножом, яростно заревел медведь, ударила мохнатая когтистая лапа, снова и снова взлетел нож. Катька верещала в полный голос, вцепившись руками в растрепавшиеся косы и прыгая на месте: брызги веером летели из-под ног. Птицы с криком улетали прочь, какой-то маленький зверёк, пища, улепётывал по кочкам... И вдруг стало тихо.

Вся дрожа, суетливо вытирая с лица слёзы, Катька смотрела на то, как из-под рухнувшей наземь лохматой туши, кряхтя, выбирается муж.

– Тьфу... Фу-у-у... Вот это, я тебе скажу, ей-бо...

Договорить он не успел: жена бросилась к нему, обняла, жадно ощупала, осмотрела всего с головы до ног:

– Ой, дурно-ой... Совсем дурной, головы и в помине нет... И не было отродясь... Мало мне твоих коней... Что вздумал?! А как загрыз бы он тебя?! Что бы со мной, с детьми бы нашими стало, а?! Что бы я в таборе матери твоей сказала? А?! Да будешь ты хоть когда своей башкой пустой думать?! Это кровь, откуда? Где?!

– Да ничего... Его это кровь, – тяжело дыша, отвечал Яшка. У него дрожали руки, но, взглянув на перепуганную жену, цыган снова улыбнулся. – Дура ты, Катька... Вот кабы он Кремня сожрал, то кого бы мы с тобой Ипатьичу привели? А? То-то... Эй! Куда?! Стой, сдурел, куда?! Стоять, дурак, сгинешь!!! – Он вскочил и кинулся к болотцу. Но Кремень уже нёсся по кочкам, как заяц, поднимая столбы брызг, поскользываясь, проваливаясь, снова вскакивая, с трудом выдираясь из липкой грязи...

– Не ходи-и-и! – завопила Катька, хватая мужа за рубаху. – Чёрт с ним, пусть уходит! Утонешь! Ой...

Шлёпанье по воде и чавканье грязи вдруг стихло. Схватив мужа за плечо, Катька круглыми от ужаса глазами смотрела на то, как беглец по пояс ушёл в трясины. Ванька заорал, рванулся, судорожно зашарил руками по стеблям болотной осоки, ища опоры и – не найдя её. Ещё один крик, дикий, полный смертного страха, разлетелся по болоту.

– Яша... – задохнулась Катька. – Может, достанем?..

– Поздно, – хрипло ответил тот. И, зажмурившись, медленно перекрестился, когда голова Кремня скрылась под водой и оборвался последний крик.

Силины долго пробирались через лес, спотыкаясь о коряги, перелезая через поваленные, заросшие мхом и лепёшками лишайников стволы и прислушиваясь к каждому шороху и хрусту. За любым кустом мог оказаться не только беглый арестант, но и голодный зверь. Ефим уже с тревогой посматривал по сторонам.

– Антипка, может, ерунду мы делаем? – наконец вполголоса спросил он. – Ну как человека в этакой чащобе сыщешь? Вот мы идём, башками по сторонам крутим – а он, может статься, прямо над нами на ёлке сидит!

– На какой ёлке? – не оборачиваясь, отозвался Антип. Его внимание привлекла содранная с могучей сосны кора, и он сосредоточенно изучал её красноватый корявый ствол. – Ты глянь на эти ёлки! Голая стволина чуть не на версту в небо тянется! Это ты на неё, может, влезешь, да я. Ну, цыган наш заберётся, коль ему за это рубль посулить. А Кремень – нипочём, хоть до крови надсадится! Прав Яшка, городскому человеку в таком лесу только запропасть. Недалёко он ушёл, найдём... А ну, чш-ш!

Последнее Антип произнёс упавшим до чуть слышного шёпота голосом. Ефим замер. С минуту они оба стояли неподвижно, вслушиваясь в лесную тишину. Вскоре Ефиму послышался чуть слышный хруст. Затем – ещё, ещё... Он скосил глаза на брата, взглядом показал вправо – оттуда тянуло сырым овражным холодом. Антип согласно кивнул. Бесшумно повернулся и двинулся в сторону оврага. Ефим, стараясь не задевать низко нависших ветвей, тронулся за ним.

Из оврага пахло прелой сыростью, грибами; он казался безлюдным – и всё же там кто-то был. Ефим видел это по примятой траве у края склона, по нескольким сломанным ветвям на кусте можжевельника, по тому, как молчали птицы. Антип одним движением бровей показал: спускаемся. И первым шагнул вниз.

Всё произошло так стремительно, что братья не сумели даже понять, что случилось. Из-за поваленного ствола выметнулось что-то чёрное, бесформенное, сбило с ног Антипа и вместе с ним покатило вниз по склону оврага. Ефим кинулся следом, громко ругаясь. Ему почудилось, что на брата напал какой-то диковинный зверь и брань напугает его. Но, ещё не достигнув места побоища, он понял: это человек. «Нешто Кремень наш?!» Ефим прыгнул ему на плечи – и по мощному удару, отбросившему его на замшелые камни, сразу понял: Кремню до этого лесного чудища далеко.

Это был огромный, кряжистый мужик. Дрался он молча и яростно – лишь тихо ухал при ударе. Ефим поспел вовремя: неизвестный уже навалился всей тяжестью на брата и уверенно душил его. Антип ещё кряхтел, стараясь сбросить с себя давящую ношу, но убийца был неподвижен и тяжек, как северный валун. Ефим, налетев сзади, нанёс ему сокрушительный удар кулаком. Неизвестный покачнулся – и этого мгновения Антипу хватило, чтобы сбросить с себя разбойника.

– Ефимка, держи! Держ-ж-жи варнака этого... Фу-у... Чуть не до смерти... проклятый... уходил... Да дай ты ему ещё раз! Посильнее! Вишь – не уймётся никак!

Тот и впрямь не унимался: рвался, выкручивался, выдирался изо всех сил. Братья вдвоём едва удерживали его. В конце концов Антип, потеряв терпение, ударил пленника по лбу так, что тот обмяк. Ефим, облегчённо вздохнув, ослабил ручную цепь, накинутую на горло противника. Глядя на огромную тушу, лежавшую на прелых листьях, с уважением сказал:

– Вот отродясь не видал, чтоб кто-то сильнее нас с тобою был!

– И я не видал, – согласился Антип, наклоняясь и с усилием переворачивая тело. – У, тяжеленный, бугаище... Кого ж это мы с тобой поймали? Суший оборотень!

– Какой оборотень... – хмыкнул Ефим, разглядывая изодранную, грязную одежду пойманного. – Варнак беглый! Ты глянь ему на ноги – небось от кандалов метки есть?

– И что ж с ним делать? – озадачился Антип, садясь на мох и разглядывая физиономию беглого каторжанина, испорченную старыми шрамами и свежими царапинами. Тот в ответ молча палил из-под бровей упорным взглядом. Глаза пленника были ледяные, голубые, жуткие.

– Отпускать его аль с собой волочить? Кремня-то мы с тобой так и не добыли...

Издали донёсся слабый крик: кто-то из партии окликал их. Ефим, вскочив на ноги, отозвался. Затем взглянул на солнце. Оно падало к вечеру.

– Возвращаться надо, – решил Антип. – А этого с собой заберём. Кремня не нашли, так хоть этого лешака Ипатьичу доставим. Авось сгодится для чего-нибудь. А коль нет – пушай обратно в лес бежит.

– И то дело, – согласился Ефим. Пленный угрожающе заворчал, но Антип уже вязал его, поглядывая на темнеющие верхушки деревьев.

... – Вы мне кого приволокли, висельники?! – орал Ипатьич, бегая по дороге вдоль неровного строя арестантов и воздымая к вечернему небу кулаки. – Я вас спрашиваю, где вы только этакого страшилища выловили?! И что мне с ним делать-то? Да что вы за народ за такой?! Их, как людей, за одним пошлешь – как есть другого притащат! Одного разбойника вдесятером отыскать не сумели!

– Ваше благородие, как есть невозможно это обделать было, – аккуратно вклинился между двумя офицерскими воплями Кержак. – Потому вот цыган рассказывает, что Кремень в болоте у него на глазах утоп. Доставать его оттуда никак невместно, уж вы моему слову поверьте. Здешняя трясина такова, что не только человека – лошадь с телегой в один миг употребит!

– У нас с Катькой на глазах и сгинул парень, – подтвердил Яшка. Жена в подтверждение тяжело вздохнула и перекрестилась. – Только булькнуть два раза и успел, сердешный... Я было кинулся за ним, да какое! Шагу сделать не успел...

– Ваше благородие, а этот вам не сгодится ли? – осторожно спросил Кержак. – Всё едино наш брат беглый, а что рожа другая – так кому какая разница? По бумагам очень даже спустить можно...

– Где же спустишь, коли приметы вовсе не те?! Да и не согласится он... – Ипатьич сердитым, скорым шагом подошёл к связанному пленнику, который так и стоял на дороге между братьями Силиными. Офицер взгляделся в лицо пойманного, удивлённо крикнул, помолчал. Затем попросил:

– Семёнов, посвети-ка!

Казак поднёс фонарь. Жёлтые неровные блики запрыгали по физиономии пленника – и Ипатьич усмехнулся:

– Берёза... Никак ты?

– Добрый вечер, ваше благородие, – прогудел в ответ пойманный. Ефим, стоящий рядом, невольно вздрогнул: почему-то ему казалось, что беглый варнак окажется глухонемым. Ещё более неожиданной оказалась улыбка Берёзы, мутно блеснувшая в свете фонаря и больше напоминавшая оскал зверя.

– Как есть, атаман Берёза. Здравствуйте.

– Я тебя, кажись, два года назад вёл?

– Три, Фёдор Ипатьич.

– Тьфу, память – решето... Так ты что же – с Зерентуя идёшь? – В голосе старого офицера просквозило невольное уважение.

Берёза в ответ улыбнулся почти самодовольно. Затем озабоченно спросил:

– А с чего же эти медведица меня взяли? На кой я вам сдался? Никого не обидел, никого ни на поселении, ни в деревнях не тронул... Как ангел, летел себе через таёжку-матерю... Пошто ловили-то?

– Ловили-то, балбес, не тебя, – с досадой поведал Ипатьич и, словно разом забыв о своих подопечных, принялся расхаживать взад и вперёд вдоль обочины. Сзади его сопровождал почтительный Семёнов с фонарём. На обветренном, морщинистом лице унтер-офицера читалась мучительная работа мысли. И Берёза, и каторжане напряжённо следили за этим процессом. Наконец Аносов медленно, словно продолжая раздумывать над каждым словом, спросил:

– Ты, Берёза, ведь за убийство попал на бессрочную-то?

– За четыре, Фёдор Ипатьич, – с достоинством поправил тот. – Сами знаете.

– Угу... Память, говорю, вовсе худа стала... Ну, так слушай. Коль так вышло, может, останешься? Оно и тебе выгодней будет.

Светлые голубые глаза Берёзы не выразили ничего. И голос его был таким же безразличным, когда он негромко спросил:

– В чём же мой барыш, ваше благородие?

– Не разумеешь? Барыш, да ещё с магарычом! – Ипатьич остановился прямо напротив огромного атамана. Чтобы посмотреть тому в лицо, офицеру пришлось задрать голову. – Гляди сам. Ежели тебя изловят да на место возвратят – сам знаешь, сколько плетей полагается. Да к стене заодно прикуют.

– Знаем мы цепи-то эти, сиживали, – хмыкнул Берёза.

– Это смотря к какому начальству попадёшь, – заметил Ипатьич, и беглый каторжанин, подумав, согласно кивнул. – Оно, конечно, тебя и не словить могут... Но ведь рано или поздно ты всё равно туточки окажешься!

– Такая доля наша, – опять согласился Берёза.

– Ну вот... А ежели ты сейчас с нами пойдёшь да на всех этапах будешь Иваном Трофимовым прозываться – тебе прямой навар! Потому что тот Трофимов шёл всего на пять годков. Стало быть, и пригляд за тобой другой будет, и жизнь поспокойней, и... И сам разумеешь. Как кукушка проснётся – не в пример легче тебе будет утечь.

– Нешто я по приметам с вашим Трофимовым схож? – ухмыльнулся Берёза, поводя широченными плечами.

Улыбнулся и офицер.

– Кудыть... Ты, колокольня, в своём роду единый! Так ведь по приметам проверять уже на месте станут! Назовёшься непомнящим. Кому там знать, на каком этапе ты в партию протырился? Покуда бумаги ходить туда-сюда станут, покуда тебя выяснят да уточнят – ты зиму в тепле на казённом харче пересидишь да смыться по весне успеешь. А иркутский острог – это тебе не Зерентуй и не Кара, сам знаешь. К тому ж очень даже просто можешь вместо рудников на заводы попасть. А там всяко легче. Годится тебе этак?

– Сорок рублей серебром, – поразмыслив, мирно сказал Берёза.

– Это как артель, – в тон ему отозвался офицер. – Эй, Кержак! Староста! Поди...

Через минуту коротких переговоров с артелью Кержак заверил, что сорок рублей «ненакладно станет».

– Ну, вот и столкнувались. – полной грудью вздохнул Ипатьич. – Тьфу, нечистая сила... С вами не то что посидеешь до срока – облысеешь к чёртовой матери! Семёнов, Паранин – гоните всех спать! А которые ловили – тем ужинать двойную порцию принести! И Трофимову Ивану тоже! И ложитесь, черти, всё едино на этап уж опоздали! Ночуй из-за вас как попало, в сырости!

– Ништо, ваша милость, до света подыдемся и пошагаем. Как есть к солнышку на месте будем! Даже не беспокойтесь! – уверенно сказал Кержак, и все знали, что так всё и будет.

На ночлег расположились прямо вдоль дороги, наспех нарезав в лесу лапника. Пойманный Берёза лёг у ближайшего костра, вытянулся и, казалось, сразу же заснул. Братья Силины, сидящие поодаль, переглянулись.

– Спать в череду придётся, – шёпотом сказал Ефим брату. – Глядишь, ночью зарежет ещё... Мы ж его повязали-то!

Сказано это было чуть слышно, но Берёза сразу повернул голову. В светлых глазах его мелькнула усмешка.

– Не бойсь, парень. Ты, верно, первый раз по этапу-то?..

– Как есть первый, – переглянувшись с братом, осторожно подтвердил Ефим.

– Ну, так смекай, что я слово дал офицеру вашему. А коли дал – так без безобразия до Иркутска с вами пойду. И потом, у меня на вас сердца нет. Тот дурак ваш, кто сбежал да артель подвёл. Я бы его сам колом по башке образумил... Спите давайте! Завтрашний переход – вёрст тридцать...

Берёза умолк и на этот раз, казалось, действительно уснул. Братья некоторое время сидели молча. Было тихо, лишь изредка из глубины леса доносился тоскливый волчий вой. Догорали, затягивались седым пеплом костры.

Взошла луна. Рядом с Ефимом, прижавшись щекой к его руке, тихо спала Устинья, и парень не пытался высвободиться. Сон не шёл. По дыханию брата рядом он чувствовал: Антип тоже не спит.

– Чего сопишь там? – наконец спросил Ефим.

Рядом – короткое молчание. Затем Антип вполголоса сказал:

– Я тебе, знамо дело, не указ... Но не теребил бы ты Устю Даниловну-то попусту. С барином этим нашим. Думай сам: скоро уж на место придём. Нас – в рудники аль на заводы, как выйдет, а барина – на поселение... Поди, и не увидимся мы с ним боле никогда.

– Дай бог, дожить бы, – зло процедил Ефим. Но Устинья радом зашевелилась, простонала что-то сквозь сон, и он поспешно накрыл её рукой. И долго ещё лежал без сна, глядя в чёрное небо, где синела, мигая, одинокая звезда.

\* \* \*

В имении графов Браницких праздновали именины хозяйки. Стояло начало октября, все окрестные поля давно были сжаты. На скошенных лугах высились огромные копны сена, по утрам уже покрывавшиеся серебристым налётом изморози. Вокруг имения бронзовели осенней листвой дубовые рощи. Нарядным багрянцем щеголяли осиновые перелески. Дни стояли ясные, сухие. Затуманенное солнце по временам проглядывало из-за кучек седых облаков, и музыка из имения далеко разносилась по пустым полям.

Браницкие всегда жили на широкою ногу: на именины графини Марии Ксаверьевны съезжалась чуть ли не вся губерния. С самого утра возле ворот уже теснились экипажи – от модной кареты предводителя дворянства до развалистых дормезов и тарантасов соседей победнее. Ожидался и спектакль домашнего театра, и балет, и живые картины, в которых участвовали все окрестные барышни, а вечером – непременно бал. Знаменитые балы Браницких, о которых не стыдно было рассказать и во время зимнего сезона в петербургских гостиных, гремели на весь уезд. Крепостной оркестр под руководством дирижёра Михея Сидоровича, говорившего на трёх европейских языках и учившегося в Италии у самого маэстро Санти, знал все модные новинки. Музыканты играли и вальсы, и полонезы, и мазурки с котильонами – причём половина из них была сочинена самим Михеем Сидоровичем или его сыном Васькой, первой скрипкой оркестра.

В огромной бальной зале сиял наборный паркет, в котором лукаво бликовали огни свечей. С хоров раздавались звуки настраиваемых скрипок. Однако осенний вечер выдался неожиданно тёплым, и гости не спешили уходить с обширной веранды. В углу её притулился большой ломберный стол, который почему-то позабыли унести, и вокруг этого стола собралось небольшое мужское общество. Здесь было человек шесть местных помещиков, отнюдь не бли-

ставших в своём быту утончённой роскошью. Это их тарантасы-развалюхи выглядели растрёпанными коробками на фоне изящных карет. Впрочем, уездных господ сей контраст нимало не смущал. Здесь считалось, что звание столбовых дворян компенсирует невеликие доходы. Было выпито уже немало и бургонского, и шампани, и знаменитой хозяйской наливки. Голоса гостей стали громкими, смех – слишком раскатистым, а жесты – излишне широкими. Лакею, которому был поручен ломберный стол, уже не раз приходилось ловко подхватывать на лету сброшенную неловким движением бутылку или пустой бокал.

– Как хотите, господа, а утомительно всё это! – брюзгливым голосом говорил Трентицкий – высокий сухой старик в коричневой паре, от которой пахло мышами. Его поросшая седыми волосами бородавка на подбородке гневно подрагивала. – Пошли, конечно, господь здоровья и благоденствия графу и Марии Ксаверьевне, благодетели они наши, но... Взять хоть эти живые картины! У меня, сами знаете, пять дочерей, и все на выданье! Стало быть, все участвуют, одна – Психея у ручья, другая – Терпсихора, третья – какая-то Рогнеда в крепости... Прочих и позабыл! И что же? Вынь и на стол положи им костюмы, да не по одному, а по три, и на все материи по восемь аршин, а для чего? Для того лишь, чтобы минуту постоять в них в виду общества! Я не спорю, эта выдумка графини забавна, но... Доходы, господа, сами знаете какие! Я своей Катерине Николаевне так прямо поперву и сказал: какие, мать моя, могут быть костюмы и картины, когда рожь ещё с рук не сбыта и за холсты ни копейки из уезда не получено?

– Однако смелый вы человек, Павел Ардальоныч! – ехидно заметил толстенький курчавый Мефодий Агарин, одетый в потёртую венгерку Черноморского гусарского полка. – Так-таки прямо в глаза супруге и брякнули?! Одна-а-ако... Ведь Катерина Николаевна, когда гневаться изволят, суцая Немезида!

– Не смелость это, а дурь, государь мой! – всё так же брюзгливо возразил Трентицкий. – Уж, казалось бы, заранее знаешь, что дело гиблое... Ан нет, всё надеешься на божью помощь! Брякнул, разумеется... Бросил уголь в солому! Ну и, разумеется, сразу же... Девчонки в обмороках лежат по своим комнатам, горничные с солями носятся, Катерина Николаевна рыдать взялась... И сразу же: «Вы пустой человек, вы не отец своим детям, вы Петеньке в полк денег не шлёте, мальчику перед товарищами стыдно...» А к чему было отправляться служить в уланы?! Накладно это по нынешним-то временам! Да вот хоть Алексея Кондратьича спросить... Ведь недёшево вам сын обходится в гусарах-то?

Алексей Кондратьич тяжело вздохнул и отсалютовал обществу из плетёного кресла бокалом бургонского:

– Ваше здоровье, господа... Не поверите, хоть и грешно, но иной раз и Богу спасибо скажешь, что у нас с Аглаей Ивановной из четырнадцати только двое выжило. Отправил Мишку в полк, так сейчас же письмо за письмом – то подписка, то поздравлять командира, то вечер какой-то в пользу бедных, то бал, то перчатки немодные, то скачки, то проигрался в вист... Грачёвку пришлось продать, а ведь доходная деревенька была! Сходнино в закладе, и бог ведает, удастся ли выкупить...

– Выкупите, Алексей Кондратьич, – утешил Агарин. – У вас в этом году такие льны уродились, такие овсы...

– Ох, боюсь, тут овсами не поправишь... – отмахнулся Алексей Кондратьевич. – Одно лишь спасибо – что Мишка не в лейб-гвардию определился!

Соседи грохнули смехом. Подбежавший лакей умело наполнил бокалы.

– Я вас, господа, понимаю как никто, да-с! У меня у самого сын служит! – важно и весело заговорил между тем толстенький Агарин, поглядывая прищуренным глазом в багряную глупину бокала. – Сами видите, молодец – хоть сейчас же во дворец! В отпуск от полка прибыл, пытается мне по хозяйству помогать, да что-то толку мало. Больше за девками бегают по сено-

валам, ну так что ж – дело молодое... Николаша, что ж ты в дом не идёшь, там бал начинается! Поди, барышни заждались! Нехорошо, милый, ты ведь во всех книжках числишься!

Николай Агарин только чуть усмехнулся краем тонких губ. По его скучающей смазливой физиономии было видно, что ничьи бальные книжки молодого человека не интересуют. Он сидел на ступеньках веранды и, поглядывая на рдеющий за парком закат, тянул из бокала вино. Отец с гордостью поглядывал на него.

В это время на широкой аллее парка появился очередной гость. Он шёл, сильно прихрамывая, и, судя по неспешной походке, тоже не слишком торопился на бал. В розовом вечернем свете было видно, что человек этот ещё молод. Судя по потёртой армейской форме, он тоже прибыл на этот бал в разбитом тарантасе. Не замечая, что его разглядывают с веранды, он остановился у края пруда, заросшего кувшинками, и начал наблюдать за игрой закатных бликов на стоялой воде. Молодой Агарин, поставив свой полупустой бокал на ступеньку, с интересом разглядывал эту одинокую фигуру.

– Кто это, *pará*? – наконец спросил он. – Вон там, у воды?

Агарин, который как раз забавлял своих друзей каким-то гусарским анекдотом времён Николая Павловича, повернулся на голос сына и, близоруко сощурившись, присмотрелся.

– Ба-а... Никак сам Никита Владимирович Закатов прибыли! Нечего сказать, большая честь для графа с графиней! Сам затворник болотеевский почтил, так сказать, визитом! И на чём этакую честь записать?

В голосе его сквозила неприкрытая насмешка. Сын изумлённо поднял брови, повернулся – и увидел, что другие гости тоже улыбаются иронически и не слишком добро.

– В самом деле, господа, – первый раз вижу его у кого-то в гостях! – усмехнулся Трентицкий, подходя к ступенькам. – Третий год хозяйничает у себя в имении – и хоть бы визиты нанёс старым друзьям отца! Нет-с, на такое современное воспитание не распространяется!

– Позвольте, да я сам к нему приезжал! Я его ближайший сосед, всего-то четыре версты! – живо заметил Истратин – ещё молодой человек лет тридцати пяти. – Подумал – разница в годах невелика, могли бы дружить, а то по вечерам, да ещё зимой, скучно же, ей-богу! Принял он меня, конечно, вежливо, надо отдать ему должное, и супругу представил, и обедать предложил... Но, господа, я сразу заметил, что прибыл некстати! Вообразите, сидим с ним в гостиной, я ему рассказываю уездные новости, а к нему то и дело без доклада входят какие-то дурно пахнущие мужики, бабы, его Авдеич... кланяются, лезут со своими разговорами о коровах, племенном жеребце, о том, что леса на хаты недостаёт... А он, вместо того чтобы выставить этих наглецов вон, просит меня обождать – и идёт с ними разбираться! Чёрт возьми, о каком тут воспитании речь, если столбовой дворянин, давний знакомец его батюшки, достоин меньшего внимания, чем дворовая баба на сносях! Честное слово, господа, я плюнул и уехал не прощаясь! Так он этого, по-моему, и не заметил даже! С какими-то цыганами на скотном дворе ругался! Ещё и на их языке!

Присутствующие невольно рассмеялись. Молодой Агарин привстал и с усиленным интересом взгляделся в неподвижную фигуру Закатова.

– А по-моему, он просто опасен, – медленно выговорил Трентицкий. – Обычное дело, контузия на войне... Вы видели его лицо? Изуродован ужасно! А контузия с людьми делает страшные вещи, господа! Иной, кажется, и нормальным выглядит, и разговоры вести может разумные, и ложку за обедом в ухо не несёт... А после такое вскрывается, что мороз по спине! Впрочем, эти Закатовы всегда слегка того были... Старый граф после смерти супруги тоже многие годы никого видеть не хотел. Однако закон знал и дворянскую честь высоко держал! Мужики у него в Болотееве по струнке ходили! Пять дней барщины вынь да положь, и попробуй только рот открой! Бунтов не было, да-с, боялись! Да и управляющая у них была... Ох! Женщина, а иному и мужчине было чему поучиться! Для барского дохода себя не жалела! Через это и мученическую смерть приняла, голубушка Амалия Казимировна...

– А что с ней случилось? – лениво любопытствовал Николай Агарин.

– Да, извольте видеть, мужики зарубили! Вот эти самые закатовские мужики, с которыми их нынешний барин носится как курица с яйцом! – ехидно усмехнулся Трентицкий. – Она, будь ей земля пухом, каждую копейку из мужичья выбивала, шесть дней барщины назначила, ни есть, ни спать им, мерзавцам, во время страды не давала, покуда всё не уберут! Всё до копейки – молодому барину этому слала... Святая женщина, мученица, что и говорить! Никита Владимирович в Москве жил и горя не знал! Только денежки получал! А эти свиньи возьми управляющую да и пореши! Сами, разумеется, на каторгу пошли, но ведь человека-то дельного не вернёшь... Закатов приехал и начал свои порядки наводить. Мы с Мефодием Аполлоновичем попервости пытались ему советы давать... Из искреннего уважения к его покойному батюшке, по-отечески! Так он всё мимо ушей пропускал! Ещё и возражал, якобинец этакий! Не-ет, господа, ничуть не удивлюсь, если у него имение скоро в опеку примут!

– Отчего же, князь? – удивился молодой Агарин.

– Помилуйте, Николай Мефодьевич, да как же?! Он же мужиков портит, развращает! И ладно бы хоть своих, да ведь и чужие на это глядят и выводы делают! Вы послушайте, какие разговоры ведутся, – да хотя бы у меня в Средневке! «Болотеевский барин два дня барщины обозначил! Полсела строится, лесу дал! Барских коров по хатам раздал, себе лишь трёх оставил! Тринадцать семей на оброк отпустил!» Ну и что это за цацканье с мужиком, позвольте вас спросить?! Разве ж так можно? Разве этих мерзавцев из узды выпускать годится? Никита Владимирович этого по молодости лет не понимает, да ещё, вероятно, в Москве вредных идей понабрался! А может, боится, что мужики его зарежут, как управляющую, заигрывает с ними пока что из трусости-то. После-то локотки кусать будет, когда у него в именье прямой бунт начнётся, да уж ничего не поделает будет!

Другие помещики подтвердили эту страстную речь солидными кивками. Молодой Агарин, скривив в усмешке тонкие губы, иронически разглядывал их.

– Однако же, может быть, в этом есть искра здравого смысла? – заметил он. – Мужики ведь, господа, та же скотина, а скотину кормить нужно, ухаживать за ней, тогда она и работать лучше будет...

– Скотина, Николай Мефодыч, тем от мужика выгодно и отличается, что не бунтует, – со вздохом ответил Трентицкий. – А посему и обращения гораздо лучшего заслуживает. Вот папенька ваш это хорошо понимает, оттого у него и хозяйство чуть не лучшее в уезде... наших сегодняшних хозяев, разумеется, в расчёт не берём, здесь – иные измерения! За здоровье пани графини, господа!

– Позвольте, а как же супруга-то его всё это выносит? – выпив и поставив пустой бокал на стол, удивился Истратин. – Ведь он женился, кажется, пару лет назад?

– В самом деле, удивительно! – усмехнулся и молодой Агарин. – При его внешности жениться... Большую смелость надобно иметь или же большие деньги! Но там, судя по вашим рассказам, ни того и ни другого?

– И девица-то из хорошей семьи, порядочной... – задумчиво сказал его отец. – Господина майора Остужина вся округа знала, редкой был доброты человек! Правда, душа-человек выпить любил и в преферансик поигрывал изрядно, но...

– Никакой в нём доброты не было, и ума тоже, – поморщившись, возразил Трентицкий. – Знаю, знаю, Мефодий Аполлоныч, о покойниках или же хорошо, или же вовсе молчи, но... Поигрывал он и впрямь изрядно! Да так, что после его кончины дочке только и осталось, что деревенька нищая в десяток дворов да три человека дворни! Денег, разумеется, ни копейки, одни долги! Что же было несчастной девице делать? Более к ней никто не сватался, а на безрыбье и штабс-капитан Закатов выгодным женихом оказался. Вообще, господа, очень там всё нечисто, на мой взгляд! Свадьбу они и ту тайно сыграли! Никого из соседей даже на венчанье

не пригласили, где-то в дальнем сельце окрутились! К чему, спрашивается, такой карамболь было устраивать?

– Полагаю, папенька, всё просто, – с циничной усмешкой пожал плечами молодой Агарин. – Честь девицы и всё такое. Господин Закатов, как порядочный человек, вероятно, просто обязан был...

Конец фразы молодого военного потонул в понимающих смешках. Однако развить свою мысль далее Николай не успел. Закатов, которому, очевидно, прискучило стоять у берега, вдруг резко повернулся, и, хромя, зашагал прямо к веранде.

– Никита Владимирович! Господин Закатов! – окликнул его Агарин. – Добрый вечер, и вы здесь? Не желаете ли к нам присоединиться?

– С удовольствием, господа, – не сразу ответил Закатов. – Я здесь, признаться, единственный гость, приехавший по делу. Право, очень стыдно, но я напрочь забыл, что у пани Браницкой нынче именины и мы с женой тоже званы. Проезжал мимо из уезда, вспомнил, что задолжал графу и как раз могу вернуть долг. Подкатываю – а всё забито экипажами! Разумеется, граф ни о каких делах и слушать не захотел, сразу же погнал меня смотреть спектакль, после – обедать...

Говорил Закатов медленно, словно тщательно выбирая каждое слово, и эта речь сильно разнилась с его молодым, загорелым, чуть скуластым лицом, испорченным давним шрамом. Говоря, он улыбался, но светлые серые глаза смотрели холодно.

– Ходят слухи, что вы, Никита Владимирович, у себя барщину отменили? – пригубливая из бокала цимлянское, спросил Агарин. Его кошачьи усы недоверчиво подрагивали. – Неужто так с женьбой разбогатели, что решились?..

– Вздор, – коротко ответил Закатов. Про себя подумал: и ведь каждый раз одно и то же, и не надоест им... – Совсе отменить барщину я не могу, поскольку наёмных работников не держу, а на земле кому-то надо работать. К тому же...

– Ну вот, я же и говорю! – не дослушав, с жаром перебил, обращаясь к прочим, Агарин. – Я всё это время вам, господа, говорил, что этакую глупость и спьяну не придумаешь – барщину отменять! И не таков Никита Владимирович, чтоб себе в убыток дела ладить! Слава богу, хозяйство у него пусть небольшое, но доходное... Было, по крайней мере, при покойнице Амалии Казимировне. Однако два дня барщины – это, на мой взгляд, маловато всё же! Вот вы, Никита Владимирович, человек молодой, и супруга у вас молодая, весьма достойная особа. И восхитительна крайне, надо сказать, – мне, старику, можно. Что ж вы её к нам не вывозите? Увольте, не поверю, чтобы дама не пожелала показать соседям своих новых нарядов!

– Анастасия Дмитриевна не привыкла к обществу, – сухо сказал Закатов. – Я надеюсь, господа Браницкие всё же извинят её и меня.

– Неужто тряпок жёнке не накупили, Никита Владимирович? – довольно развязно поинтересовался Трентицкий. – Нельзя так, мой милый, нельзя... Этак с женщиной что-то вовсе скверное станет! Их же хлебом не корми, а дай перед соседками повертеться в каком-нибудь гроденапле или муаре! И она вам не спустит, что вы о своих мужиках думаете более, чем о ней!

Молодой Агарин тихо рассмеялся. Закатов, взглянув в его темные, масляно блестящие глаза, вдруг почувствовал острый, как тошнота, приступ отвращения. В который раз подумал: незачем было сюда ехать.

– Вот и в карты вы не играете, я вижу, – не унимался Трентицкий. – Крупной игры я и сам, признаться, не одобряю, а по маленькой отчего не позабавиться? Люди повыше нас не брезговали! Думаю, и господа сочинители, коих вы весьма почитаете, резались в вистик понемножку! А, Никита Владимирович?

– Не вижу, признаться, в этом никакого удовольствия, – без улыбки сказал Закатов. – Да и денег у меня свободных нет.

– Ну, вот видите! – сочувственно сказал Агарин. – А вы мне тут изволите толковать о двух днях барщины! А послушали бы разумных людей да надбавили пару деньков – глядишь, и в вист перекинуться было б на что! Вот вы конный завод у себя затеяли, у цыган жеребцов купили... Хороших жеребцов, нечего сказать, да только это дело тоже капитала требует! А вы своим мужикам лесу без счёта на избы отпускаете, коров в хозяйство даёте... Верно ли, что вы в прошлом году, когда недород свалился, весь свой хлеб в деревню отдали, так что и продать было нечего?

– Ну, коли б я весь отдал, так перед вами бы сейчас не стоял. Помер бы зимой с голоду вместе с женой, – усмехнулся Закатов. – Пустое. Но и дать своим мужикам умереть тоже, согласитесь, было бы непродуктивно. Покойница Веневицкая довела их до того...

– ...что они её уходили топором, – сурово закончил Агарин. – Вот к чему недогляд и попустительство приводят! А вы им, мерзавцам, ещё и потакаете! В острог троих сдали – а можно было бы полсела! Это же сущий бунт! Мы, соседи, несколько месяцев тряслись, слушая новости из ваших владений! Ну да дело прошлое, что теперь поминать... Но только, милый мой, не повторяйте же прежних ошибок! Я ведь всё понимаю, молодость, светлая пора... Всё думаешь мир изменить! А он, проклятый, не меняется! – он доверительно придвинулся к тяжело молчавшему Закатову, подмигнул. – Я сам, признаться, когда женился на своей Авдотье Михайловне, ей в угоду отменил внушения на конюшне. Ну и что из этого путного вышло? Ей же девки в лицо хамить начали! Уж по первому зову не бегут, ленятся! Ты ей, мерзавке, слово, а она тебе в ответ – десять, и смотрит, поганка этакая, прямо в глаза, чуть ли не смеётся! Я всё терпел, не хотел в бабьи дела лезть... Но уж когда мужики в моём лесу для себя рубить начали... Да прямо среди бела дня, еретики, без стыда и совести, дров у них, видите ли, нет!.. Тут уж я послабления отменил да на стародедовский путь всё возвернул. Как перепороли всю эту порубную команду да вслед за ней полдевичьей – так порядок и воцарился! Сама Авдотья Михайловна мою правоту признала – а это за четверть века семейной жизни хорошо если раза два было! Мужик – он вор, свинья и хам, его в крепкой узде держать надобно!

– А этот ваш Гришка? Воробей или как его... Стриж? – вмешался Истратин. – Вы же, Мефодий Аполлоныч, сущую змею на своей груди вырастили! Теперь всему уезду мука!

– Ох, не травите душу, мой милый... – сокрушённо вздохнул Агарин. – И сам знаю, что надо было пресечь вовремя... не допустить... Но как и предположить было?! Служил парень тихо-мирно конюхом, характер имел, конечно, бешеный... Ну да у меня унять всегда умели. И вдруг, извольте видеть, просит разрешения жениться! И выбрал-то, стервец, самую красивую девку в усадьбе! Ну уж нет, говорю, не для тебя такова ягодка! Так что вы думаете?! В ту же ночь, мерзавец, сбежал! Да не просто так, а красного петуха мне подпустил! Весь флигель спалил, чуть самый дом не занялся! А с ним ещё четверо утекли, коих я в рекруты определил! И что теперь? Прячутся на болоте и разбойничают по уезду! Да и другие к ним бегут, уж сколько соседей жаловались! И урядник приезжал, расспрашивал! По дороге в Бельск теперь хоть вовсе не ездят! Экая свинья неблагодарная оказалась!

– Поймают, Мефодий Аполлоныч, не переживайте, – успокоил Трентицкий.

Агарин только горестно отмахнулся.

– Ну, свиней и хамов и среди нашего брата помещика предостаточно, – совершенно невинным голосом заметил Закатов. – Между прочим, я только что, у ворот, видел вконец умученное существо! Стоит экипаж – а к нему сзади девка привязана! Грязная, пыльная, вся зарёвана, и ноги в кровь сбиты! Вёрст двадцать, не меньше, пробежала за дрожками! Отвязать её, куда хозяева веселятся, разумеется, никто не удосужился... Господа! Ведь даже лошадей после долгой дороги вываживают, обтирают, дают отдых...

Закатов сообщал это всё спокойным полунасмешливым тоном, по которому непонятно было – шутит ли он или говорит всерьёз. На веранде воцарилась неловкая тишина. Кто-то

нахмурился, кто-то неуверенно заулыбался. Трентицкий, покосившись на Агарина, ехидно поинтересовался:

– Николай Мефодьич, не в ваш ли огород камешек-то? Ваше это «существо умученное»?

– Васёнка-то? – с натянутой улыбкой переспросил Агарин. – Да-с, моя. Ну, тут уж, господа, я просто вынужден был... Девка упряма, дерзит, Николаше перечить осмеливается... Безусловно, надо было высечь – но Николаша ведь и не дал! Кожу, видите ли, портить не захотел, говорит – сущее сияние лунное! Пришлось хоть таким вот образом наказать. А как же иначе прикажете, государь мой? И то благодарна, дура, должна быть, что семь шкур не спустили!

– А ведь прав Николай Мефодьич-то! – ухмыльнулся Трентицкий. – Вы ведь, молодой человек, с ней уже неделю эдак по гостям катаетесь? Надо полагать, скоро совсем шёлковая станет! Вот как, Никита Владимирович, хамок-то вразумлять надо! Побегает ещё с недельку за дрожками – глядишь, и поумнеет! А вы с ними миндальничать думаете!

– Что ж, возможно, – сдержанно сказал Закатов. И вдруг, повернувшись к младшему Агарину, спросил: – А что, Николай Мефодьевич, не сыграть ли нам сейчас на эту вашу Васёну? Поставите её на кон?

Младший Агарин недоверчиво улыбнулся... И потерял улыбку, наткнувшись на холодные серые глаза Закатова.

– Позвольте, но... но ведь это запрещено, – запинаясь, выговорил он.

– Да пустое! Оформим после по бумагам, есть же способы...

– Пожалуй, всё же нет, Никита Владимирович. Не обессудьте. Всё-таки это папенькин подарок и...

– Оставь, оставь, Николаша! – немедленно вмешался старший Агарин, которому, в отличие от сына, неожиданная ситуация очень понравилась. – Бог с ней, с Васёнкой, проиграешь – не беда! А вот увидеть нашего болотеевского схимника за игрой – это действительно забавно! Вообрази, я за два года его ни разу с картами в руках не видал! Обет, что ли, у вас таков, Никита Владимирович? Или, несмотря на молодые годы, уже успели наделать роковых ошибок?

– Почти что так, – коротко сказал Закатов. И, не позволяя Агарину развить далее эту тему, спросил: – Итак, Николай Мефодьевич, во что поставите Василису?

– Право, не знаю, – тот нахмурился. – Девка хороша, но очень зла и строптива, так что... Чёрт, да я и не знаю, сколько это может нынче стоить! Папа!

– Да поставь в тысячу по-соседски! – совсем развеселился Агарин. – Имейте в виду, Никита Владимирович, если бы вы её покупали, я бы с вас все пять содрал! В самом деле – хороша! Сейчас, конечно, грязна несколько, но ежели умыть...

– В тысячу, годится, – коротко сказал Закатов, усаживаясь за зелёный стол. Агарин-младший неловко опустился напротив, и сразу же казачок в красной рубахе подал запечатанную колоду. Стол плотно обступили любопытствующие, и игра началась.

Закатов выиграл Василису в первый же кон. Разгорячившийся Агарин пожелал отыграться, отец его поддержал, и через полчаса возле Никиты лежала ещё стопка смятых ассигнаций. Рядом уже никто не улыбался. Помещики поглядывали друг на друга с недоумением и даже некоторым испугом.

– Николаша, может быть, довольно? – наконец в замешательстве сказал старший Агарин. – Господину Закатову положительно везёт сегодня. Отыграешься позже!

– Не думаю, – ровным голосом заметил Закатов, складывая ассигнации. – В ближайшее время я не собираюсь возвращаться к висту. Меня сие занятие совсем не развлекает.

– Странно! – удивился Николай Агарин, которого стремительная игра и огромный проигрыш привели в крайнее возбуждение. – Вам так везёт, вы, можно сказать, магистр виста... кто бы мог предположить! И вы не играете?!

Закатов только неопределённо пожал плечами и встал.

– Мы не выпьем за ваш выигрыш? – неуверенно сказал кто-то.

Никита обвёл глазами изумлённых, недоверчиво смотрящих на него соседей. Пить ему совершенно не хотелось. «Вот ведь чёрт... У них теперь будет разговор на месяц, пожалуй!»

– Благодарю вас, господа. Охотно.

Чуть позже победитель и проигравший подошли к каретному сараю. Василиса спала под дрожками со скрученными за спиной руками. Агарину пришлось довольно ощутимо потыкать её сапогом, чтобы она заворчала сквозь зубы, как сердитый щенок, и приподняла лохматую голову. Молодой офицер принялся отвязывать верёвку, которой девушка была за шею привязана к поперечине дрожек. Василиса следила за ним с нарастающим ужасом.

– Васёнка, вот твой хозяин новый, болотеевский помещик, – сквозь зубы отрекомендовал молодой Агарин. – Ну вот, Никита Владимырьч... получите свой выигрыш.

– Благодарю, – коротко сказал Закатов. – Василиса, ступай вон к тому тарантасу и разбуди моего Кузьму. Объясни, что я тебя выиграл в карты, и ждите, скоро уж поедем.

– Не привяжете? – удивился Агарин. – Считаю долгом предупредить: девка с норовом, может и сбежать.

– На таких-то ногах? – жёстко усмехнулся Закатов, провожая взглядом ковыляющую холопку. – А впрочем, пусть бежит, если хочет, искать не стану. Я, знаете ли, не особо дорожу тем, что мне легко досталось. Однако, Николай Мефодьевич, благодарю вас за игру. Приятно было тряхнуть стариной.

– Вам ничуть не было приятно, – мрачно сказал Агарин, и Закатов первый раз за вечер внимательно посмотрел на него. – Вы и играть не собирались. Может быть, я и кажусь вам пустым человеком, но я вовсе не полный дурак.

– Вы не можете казаться мне пустым человеком, поскольку я вас совсем не знаю, – медленно сказал Закатов, шагая обратно к дому по сумеречной дубовой аллее.

Агарин невольно пошёл рядом, стараясь приладиться под хромоту своего нового знакомого. Увидев, что Николай не отстаёт, Закатов неожиданно спросил:

– Ваш папенька говорил, что вы воевали в эту кампанию?

– Под началом генерала Меншикова, – немного удивлённо подтвердил Агарин. – Дошёл с ним до Малахова кургана.

– Стало быть, мы с вами могли бы там даже видеться, – усмехнулся Закатов. – Мне именно там разворотило колено... И физиономию заодно. Кончали московский корпус?

– Петербургский.

Некоторое время молодые люди шли не разговаривая. Закатов смотрел поверх макушек дубов на бледный месяц, поднимающийся в небо. Агарин искоса поглядывал на своего спутника.

– Послушайте, Николай Мефодьевич, – вдруг негромко сказал Закатов. – И заранее извините, если мои вопросы покажутся вам слишком неуместными. Я и так, кажется, среди соседей уже кажусь опаснейшим чудаком...

– Это ведь из «Евгения Онегина»? – уточнил Агарин.

– Вы и «Евгения Онегина» прочли? – без улыбки удивился Закатов. – Я вижу, вы действительно образованный человек, и, думаю, храбрый офицер... Вы воевали. Неужели вам в самом деле безразлично то, как здесь относятся к людям?

– Я не понимаю вас! – искренне и изумлённо сказал Агарин.

Закатов остановился. Пристально посмотрел в молодое красивое лицо. Убедился: действительно не понимает. Но почему-то остановиться уже не мог:

– Послушайте, ведь эта ваша Василиса... Она же в некотором роде человек! Вы в Бога веруете? Кажется, в Евангелии сказано, что все мы равны перед Всевышним... Она очень красива, и я, как мужчина, готов вас понять... Но неужели вам приятно будет вступить в права хозяина... После того, как она полмесяца отбегает за вашими дрожками, как привязанная

шавка? И уже даже на сторожа-пьяницу будет согласна? Право, не понимаю. Вам не будет... противно? – отрывисто выговорил Закатов.

Агарин смотрел на него во все глаза. Затем, запинаясь, выговорил:

– Вы, господин штабс-капитан, в самом деле... странный человек!

– Пожалуй, – помолчав, согласился Никита. Отвернувшись, сказал: – Если мои слова чем-то обидели вас, то прошу меня простить. Всякий живёт как может. Если вы не умеете совладать с девушкой иначе, как измучив её до полусмерти...

– Господин штабс-капитан!!! – возмутился наконец Агарин. – Вы позволяете себе недопустимые высказывания! Я...

– Ещё раз прошу прощения, – вяло отозвался Закатов.

Но Агарин уже не унимался:

– Вы действительно мало знаете меня! И не имеете права на подобные реприманды! Что вы назвали девушкой? Да что это за проповедь, в конце концов?

– Если вам требуется сатисфакция... – будничным тоном начал было Закатов, но Агарин прервал его резким взмахом руки:

– Не требуется! Я не дерусь с увечными и умалишёнными! Да и повода, право же, нет! Ещё не хватало стреляться из-за дворовой девки! Прав был отец, вы не в себе! Взрывная контузия – тяжёлое дело, господин штабс-капитан! – последние слова Агарин выговорил, уже скрываясь за поворотом аллеи.

Закатов усмехнулся. Постоял немного и продолжил свой путь к дому уже один.

На душе было отвратительно. Никита успел пожалеть и о своём карточном выигрыше, и о минувшем разговоре. Прихрамывая, он двигался по тропинке и спорил сам с собой по давней привычке одинокого человека.

«Глупость, и более ничего... К чему это было нужно? Ишь, сыскался проповедник... Если человек преспокойно может кататься по всем соседям с девкой на аркане – его никакими проповедями не возьмёшь. Мог бы и сообразить! Ещё и Бога зачем-то приплёл, в которого сам не веруешь... И ведь все они тут таковы! И покойный отец был такой же! И ты, ты сам давно ли прозрел?! Да в твоём собственном доме девки пряли с измочаленными спинами – сидя на цепи! А ты ничего не знал и знать не хотел! Торчал в Москве, получал доход с имения и в ус не дул! А теперь, скажите, пожалуйста, читаешь мораль мальчишке! А отношения с соседями теперь совсем испорчены! Ещё, чего доброго, Трентицкий и луга не захочет продавать, Настя расстроится... Тьфу, болван... Ещё Василису эту теперь надо же куда-то девать!» – не мог успокоиться Закатов.

Сойдя с тропинки, он притянул к себе отяжелевшую от росы ветвь садовой калины. Протёр разгорячённое лицо мокрыми листьями, не удержав, выпустил упругую ветку, и та, распрямившись, окатила его холодными каплями. Вполголоса выругавшись, Закатов выбрался из-под куста, вернулся на тропинку – и только сейчас обнаружил, что забрёл не туда. Дома не было видно за сплошной массой чёрных деревьев; о том, где он находится, можно было судить лишь по звукам бравурной музыки оркестра. В чистом небе уже в полную силу, опоясавшись голубым ореолом, сиял месяц; крупные звёзды влажно мигали около него. Оглядевшись, Закатов наконец заметил сквозь переплетение ветвей чуть заметный свет из окна – и сразу же понял, где находится. Это был флигель старого дома Браницких, в котором давно никто не жил. Закатов долго с изумлением смотрел на освещённое окно, пока не вспомнил, что у хозяев гостят какие-то дальние родственники, которые из-за траура не принимают участия в сегодняшнем празднике. Вероятно, это те самые родственники и есть... Должно быть, уже спать ложатся. Закатов как можно тише продрался сквозь мокрые ветви и заросли мальв на дорожку, идущую под самым окном, и уже зашагал по ней к дому, когда в освещённом окне дрогнула занавеска. И голос – тот, который он узнал бы из тысячи, – заставил его замереть на месте.

– Саша, может быть, закрыть окно? Софья Стефановна простудится...

– Вера, в комнате дышать нечем! – возразил уверенный бас. – Если ты сейчас закроешь, панна Зося просто задохнётся! Оставь окно в покое! И, честное слово, пора спать! У нас меньше трёх часов осталось!

– Вы как хотите, а я спать всё равно не в силах! – весело отозвался ещё один знакомый Никите голос. – Как можно спать в присутствии ангела?!

Ни о чём больше не думая, Закатов одним прыжком пересёк расстояние до окна и, схватившись за тухлявый наличник, громко спросил:

– Саша! Петя! Вера Николаевна! Это вы?!

Воцарилась тишина. Затем пятно свечи стремительно проплыло из глубины комнаты к окну, в жёлтом свете мелькнули китель и эполеты. Затем показалось смуглое, чернобровое и усатое лицо Александра Иверзнева. Некоторое время полковник молча смотрел в темноту. Затем неуверенно позвал:

– Никита? Закатов?! Вот это встреча! Ну-ка, брат, сигай сюда!

– Саша, ты с ума сошёл! Он не сможет никуда «сигать», у него нога, ранение... – послышался встревоженный женский голос, от которого у Никиты снова мурашки пробежали по спине. Сам не зная как, он взлетел на подоконник – и тут же забарахтался в объятиях Саши, а затем незамедлительно перешёл в медвежьи лапы среднего Иверзнева – Петьки, который ещё в кадетском корпусе носил кличку Геркулесыч.

– Никита! Никита! Да как же ты здесь?! Откуда ты узнал?! Почему ночью?! Сестрёнка, погляди-ка, кто тут под окнами бродит!

– Бог с тобой, Петька, ничего я не знал, откуда же?.. – с трудом пропыхтел Закатов. – Да пусти же, медведь, задушишь... Это случай, я здесь гость... Просто проходил мимо, услышал голоса... Да поставь же меня на место, Святогор окаянный! Вера... Вера Николаевна... Княгиня... Добрый вечер!

Она ответила не сразу. Улыбнулась, подошла ближе, тоненькая, как девочка, в своём глухом чёрном платье. Внимательно посмотрела на него.

– Здравствуйте, Никита Владимирович. Вот уж не ожидала! Сколько лет, сколько зим!

– Я... тоже... никак не ждал, – запинаясь, ответил он. И больше ничего не мог сказать, потому что заговорил Александр:

– Собственно, чему ты, Верка, удивляешься? Где же ему ещё быть? Бельский уезд! Вероятно, имение в двух шагах, верно, Никита?

– В семи верстах.

– Ну вот! Ты сюда в гости приехал? А мы, понимаешь, проездом... остановились у знакомых, зная не зная, что праздник будет. Только напрасно, кажется, причинили хозяевам лишние хлопоты... Ну, теперь уж ничего не поделаешь. Впрочем, завтра мы отбываем в Москву, домой.

– Что ещё случилось, господи? – испугался Закатов. Помедлил, боясь выговорить самое страшное. – Что-то... от Мишки? Дурные вести? Он ведь, кажется, уже на место должен прибыть?

– О, нет! Слава богу, нет, ничего дурного! – торопливо заверила его Вера, и Никита заметил, как в глазах её блеснули слёзы. – От Миши было письмо, он здоров... Ещё не доехал, но уже совсем скоро... И обещал сразу же написать! Ох, да что же я снова, как последняя дура, реветь собралась... Никита, простите, ради бога... А у нас между тем такое счастливое событие! Не хватало ещё портить его слезами! Петя, Софья Стефановна, ну что же вы молчите?!

Только сейчас Никита заметил, что в комнате находится ещё одна женщина. Она сидела у дальней стены, и её платье смутно белело в полутьме. Пётр, подойдя, подал ей руку. Вместе они подошли к освещённому столу.

– Что ж, знакомьтесь, – с лёгкой неловкостью выговорил Пётр. Поймав удивлённый взгляд Никиты, смешался, усмехнулся, отвёл взгляд. Никита, не привыкший видеть Геркуле-

сыча в таком смущении, недоверчиво взгляделся в его некрасивое лицо со следами давней детской оспы... И убедился, что Петька глупо, невыносимо, оглушительно счастлив.

– Софья Стефановна, позвольте вам представить друга моего, графа Закатова Никиту Владимировича. Никита, прошу любить и жаловать: Софья Стефановна Годзинская. Моя невеста.

Барышня, стоявшая рядом с Петром, была ослепительно хороша. С тонкого, словно нарисованного кистью акварелиста лица прямо, немного растерянно смотрели блестящие чёрные глаза. Тяжёлые тёмные косы были убраны в простой узел, слегка растрепавшийся к вечеру. Высокий чистый лоб, нежная линия подбородка, мягко очерченные губы, тень от густых ресниц, дрогнувших, когда она подала Никите свои бледные, ещё по-детски тонкие пальцы... Рядом с тридцатичетырёхлетним Петром его невеста казалась ребёнком – да ей и было не больше девятнадцати. При виде этой сияющей красоты у Закатова даже дух перехватило. Он бережно коснулся пальцев девушки и от растерянности спросил:

– Так это вы – панна Зося?..

– Я, разумеется! – просто и весело ответила она, рассмеявшись, и наваждение разом схлынуло. – Отчего вы так на меня смотрите? Вам Пётр Николаевич что-то навывдумывал про меня?

– Лишь то, что влюблён в вас безумно, – усмехнувшись, ответил Никита. – Я это слышу уже три года. Да ведь это чистая правда! Увидев вас, кто усомнится?

Зося снова рассмеялась – звонко, без капли кокетства, – обернулась к жениху, и Никита внезапно почувствовал укол острой зависти к этим двум счастливым людям. Тут же устыдившись этого чувства, он задал первый пришедший на ум вопрос:

– Но, если вы оба здесь, значит?..

– Да! – перебил его Пётр. – Мы венчаемся завтра, здесь, в церкви графов Браницких! И – к чёрту родительское благословение!

Зося Годзинская происходила из старейшей варшавской семьи. Годзинские, пламенные польские патриоты, ненавидевшие Россию и «клятых москалей», отметились и во время «варшавской заутрени», и в бунт 1830 года, после которого чуть не половина мужского состава семьи отбыла на сибирские рудники. Однако конфедератские настроения в семье не только не утихли, но разгорелись с новой силой, как торф, прикрытый углём. По-прежнему на семейных и дружеских сборищах проклинались враги «ойчизны польской». По-прежнему строились планы освобождения, произносились страстные речи и собирались средства «на освобождение». Но всё это происходило втайне, за закрытыми дверями. Более того, старики Годзинские всячески старались подчеркнуть свою благонамеренность и лояльность официальной власти. В их доме говорили по-русски, на балы и рауты неизменно приглашались русские семьи и офицеры батальона внутренней стражи. Двое старших сыновей Годзинских учились в Петербургском университете, младший оканчивал гимназию в Варшаве. Дочь Зося была на выданье, и в женихах у красавицы панны недостатка не было. Но куда пан Годзинский выбирал самую достойную партию для дочери, панна Зося и Петр Иверзнев, штабс-ротмистр Варшавского полка, насмерть влюбились друг в друга.

Три года Пётр пытался сломить сопротивление Зосиного отца. Три года в семье Годзинских не прекращались слёзы, ссоры и упрёки. Юная Зося обладала стальным характером: объявив отцу, что она не выйдет ни за кого, кроме штабс-ротмистра Иверзнева, она раз за разом отказывала блестящим польским женихам. Разумеется, можно было обвенчаться тайно и без позволения родителей. Но положение осложнялось тем, что Пётр Иверзнев служил при главном штабе польского наместника. Тайный брак штабного офицера с девицей из известной варшавской семьи мог вызвать бурю возмущения в городе, где и так достаточно было бросить спичку, чтобы вспыхнул очередной бунт. Пётр боялся рисковать своей карьерой и положением русского гарнизона в Варшаве. Зося плакала, молилась и ждала.

Неизвестно, сколько бы ещё продолжалось это мучение, если бы месяц назад старший брат Зоси не был арестован в Петербурге за нападение на русского офицера во время студенческих волнений. Двадцатилетнего парня приговорили к Сибири и каторжным работам. После этого пан Годзинский решительно объявил дочери, что через неделю она выходит замуж за графа Гжельчека, давнего друга семьи.

Зося не возразила отцу ни словом. Но тем же вечером она пришла на квартиру Петра Иверзнева – одна, без горничной, тайком скрывшись из дому.

... – И вот она стоит передо мной, белая как стена, глаза угольями горят... И говорит – спокойно, будто на светском рауте: «Решайте мою судьбу, Пётр Николаевич, я всё сделаю по вашему слову!» – рассказывал Пётр, от волнения дёргая и обрывая уже четвёртую кисточку на бархатной скатерти.

Близился рассветный час, но за окном, в осеннем саду, было ещё темным-темно. Из-под плохо прикрытой ставни тянуло сквозняком. Пламя свечей дрожало и билось, бросая отсветы на лица сидящих за столом мужчин. Вера и Зося ушли, чтобы хоть немного поспать перед венчанием, назначенным на раннее утро. Братья Иверзнев и Никита решили, что лечь на два часа нет никакого смысла, и уселись за столом с бутылкой мадеры.

– И понимаешь ты, брат, мне так стыдно стало! Барышня ничего в жизни ещё не видела, у маменьки с папенькой под мышкой жила – а не боится ничего! Ведь понимала чудесно, на что шла, когда ко мне из дому убежала! Ведь скажи я ей, что – никак-с, панна Зося, я вас обожаю, но у меня, видите ли, карьера, репутация в полку, что скажет наместник... Что бы ей тогда делать было?! Идти за этого Гжельчека?! Видал я его раз у папаша на приёме! Стручок сушёный! Мазурку танцует, подсигивает, как кузнецик, из сюртука пыль летит... И ведь не побоялась ко мне прийти на ночь глядя! А если бы увидел кто? Панна Годзиньска по вечерам бегают в казармы Варшавского полка! Конец репутации, конец всему... И я по лицу Зосиному вижу, что отпусти я её – она не домой пойдёт, а на мост! И в Вислу кинется! Видал я этот польский нор, ни в чём удержу не знают... И, главное, сам-то хорош – мужчина, боевой офицер, войну прошёл! И что потерять страшился?! Расстреляют меня, что ли? Да чёрт с ней, с карьерой! Подаю в отставку, уеду в Хмелевку грядки копать! Три года неизвестно чего боялся... Стою перед Зосей красный, как бурак, слава богу, хоть свечи не горели... Тьфу, вспомнить совестно... – Пётр сокрушённо махнул рукой, отвернулся. Сидящий рядом Александр с улыбкой похлопал его по спине.

– Брось, брат. Не ты один таков. На войне мы все храбрецы с саблями наголо, а как до женщины доходит – труса празднуем...

– Сашка, я до сих пор Бога благодарю, что Зося тогда не заметила ничего, – серьёзно сказал Пётр. – Ты её не знаешь! Гонористая, как все они! Если бы хоть каплю сомнения моего учуяла – только б я её и видел! И не догнал бы, и из Вислы бы вытащить не успел! Но, видать, сильно взволнована была... А может быть, слишком во мне уверена. Ну, правда, и я быстро в себя пришёл. Видать, ангел-хранитель мой в ту ночь плохо спал, по первой тревоге поднялся!

Опомнившийся Пётр и впрямь действовал быстро. Прямо при Зосе он набросал три бумаги к своему полковому командиру: одну – с просьбой об отпуске с сегодняшнего дня, другую – рапорт об отставке, третью – личное письмо с объяснением «всей этой горячки». Пакет был вручен сонному денщику с приказом передать бумаги по назначению наутро же. Через час штабс-ротмистр Иверзнев и панна Софья Годзинская покинули Варшаву. Через два дня они были в Смоленской губернии, в имении графов Браницких – близких родственников семьи Иверзневых. А ещё через пять дней туда прибыли брат и сестра жениха. За это время Зося успела принять православие, взяв в крёстные матери графиню Марью Ксаверьевну, и готовилась к венчанию.

– Так или иначе – самое страшное позади! – весело сказал Александр, разливая по бокалам остатки вина. – Давай, Петька, по последней... За твоё счастье... И за то, что панна Зося

никогда не узнает о твоих терзаниях! Женщинам, знаешь, некоторые вещи трудно понять... Уж лучше по мере наших сил их от этого избавлять!

– И то правда, – без улыбки согласился Пётр. – Я, знаешь ли, все эти дни тряся, что Зося меня спросит: чего же ты, ангел мой, три года ждал, если всё так просто в три минуты решилось?

– Ну, тебя ещё ждёт нахлобучка от начальства...

– Переживу, куда деться. Всё равно, как только отвезу Зосю в Петербург, вернусь в Варшаву. Ты прав, надобно явиться к Горчакову и выслушать всё, что заслуживаю... а потом уж с чистой совестью в отставку. – Он встал, с хрустом потянулся, медленно прошёлся по комнате. Остановился перед зеркалом, тщетно стараясь рассмотреть в темноте свою физиономию. Неожиданно усмехнулся: – Знаешь, до смерти, наверное, не пойму, что она во мне нашла. Рожа, как у пещерного жителя... Ещё и рябая!

– Ну, это ты хватил, Геркулесыч, насчёт пещерного жителя, – отозвался Закатов, залпом допивая мадеру и тоже вставая. – Рожа как рожа, вполне мужественная... Во всяком случае, получше моей. А моя супруга как-то вот рискнула тоже...

Пётр смущённо промолчал. Старший брат укоризненно взглянул на него. Затем перевёл взгляд на Закатова. Помолчав, медленно спросил:

– Никита, спрошу на правах старого друга, для чего тебе понадобилась эта женитьба?

Закатов повернулся. Некоторое время молча смотрел на Александра. Затем губы его дрогнули, словно он собирался ответить. Но он так ничего и не сказал, и в комнате повисла неловкая тишина. А за окном уже светлел старый парк, слышались сонные голоса дворовых девок, и на фоне неба начали обозначаться макушки полуоблетевших дубов и вязов.

– Что ж, пора приводить себя в порядок. – Александр тоже поднялся из-за стола. – А то хороши будут жених с родственниками! Ты, Петька, прав: пещерный житель, да ещё с небритой мордой... Да панна Зося из-под венца сбежит! Никита, ты, надеюсь, с нами?

– Разумеется.

– Тогда дам тебе свою бритву и прочее. Идём.

Церковь была маленькой, белой, похожей на сахарную игрушку. В ограде росли старые рябины, тонкие, вызолоченные осенью липки и могучий дуб с поредевшей медной листвой. Раннее холодное солнце, кое-как выбравшись из седой дымки облаков, повисло прямо над крестом купола. В церкви пели. Слабый свет входил в стрельчатые окна, дробясь на алтаре и смешиваясь с блеском свечей. Пахло ладаном, воском, почему-то грибами. Старый священник дребезжащим голосом читал молитвы, но Никита не слышал ни слова, машинально крестясь в нужных местах и не сводя взгляда с Веры. Она стояла рядом со светлой, спокойной улыбкой на губах. Церковная свеча озаряла тонкое смугловатое лицо, делая его радостней и моложе. Вера безотрывно смотрела на Зосю – в самом деле похожую на ангела в простом белом платье и фате, наспех сшитых в девичьей графини Браницкой, светящуюся от счастья, юную, прекрасную. Священник вёл их с Петром вокруг аналая под «Исайя, ликуй», а Никита не сводил глаз с Веры, и в сердце поднималась волна давно забытого счастья. Он не помнил сейчас ни о собственной женитьбе, ни о Веринем вдовстве. Словно обезумевший от жажды путник, он пил сейчас это несказанное счастье – стоять в церкви рядом с любимой женщиной, смотреть в милое лицо без тени горя и слёз, незаметно касаться её рукава... И пусть ничего нельзя исправить и вернуть, пусть сделана тысяча неисправимых глупостей и потеряно самое дорогое... Но вот сейчас он стоит рядом с Верой Иверзневой и смотрит на неё, и никто не откажет ему в этом праве. И этого воспоминания хватит ещё надолго.

После венчания и выхода из церкви молодую пару окружило многочисленное семейство Браницких. Ограда наполнилась деловитым женским щебетом, мужским смехом, поздравлениями и пожеланиями. Александр тоже отошёл к гостям, и Вера с Никитой оказались одни.

Вернее, она пошла, ни на кого не глядя, по узкой дорожке в парк, а он, как заколдованный, тронулся следом.

– Господи, какое счастье, Никита... – Вера остановилась, сорвала гроздь рябины, прикусила несколько ягод, поморщилась. – Ещё горчит, надо же... Неужто у вас тут не было заморозка? А у нас в Москве уже все ягоды прихватило... Как же всё хорошо, наконец!.. После всего, что на нас упало, я думала, что Бог за что-то нашу семью проклял. Ведь, как умерла мама, – беда за бедой! Петино вдовство, моё вдовство, потом – Миша... А теперь Петя так счастлив! Я давно у него таких глаз не видела, прямо как мальчик... А ведь у него уже седина! И Зося прелестна... Такая смелая и так любит его... Поневолу порадуешься за них и позавидуешь! Я никогда в жизни такой красоты не видывала, просто дух захватывает!

– Зная вас, Вера Николаевна, я не могу признавать никакой другой красоты.

Закаатов сам не понял, как это вырвалось у него. Земля на миг словно ушла из-под ног, холодной волной окатило спину. Испугавшись собственного нахальства, Никита начал мучительно соображать, как перевернуть всё в шутку... И понял, что спастись уже не удастся. Вера резко остановилась посреди тропинки. Чёрные глаза посмотрели на него в упор.

– А раньше вы не были так смелы, Никита Владимирович, – со странной улыбкой сказала она. – Впрочем... Сейчас уже можно, не так ли? Это ничем вам более не грозит.

– Что вы имеете в виду, Вера Николаевна? – медленно спросил он, подходя.

Вместе они пошли по усыпанной листвою аллее в глубь сада. Ясное пятно солнца затянуло блёклыми тучами. Прямо перед лицом Закаатова, вертясь, пролетел рыжий кленовый лист.

– То, что мы стареем, Никита, и детские наши глупости пора оставлять.

– Боюсь, что все мои глупости останутся со мной до смерти. – Никита изо всех сил вглядывался в усыпанную желудями дорожку. – Я люблю вас, Вера. Я всегда, всю мою жизнь любил только вас.

– Я знаю, Никита, знаю, – помолчав, спокойно и устало сказала она.

– Но отчего же тогда?.. – он не договорил.

Молчала и Вера, грустно улыбаясь и зачем-то теребя в пальцах веточку дуба с двумя маленькими желудями. Вот один из них, оторвавшись, полетел в пожухлую траву. Вот следом отправился и второй. И сломанная ветка упала рядом.

– Вера, вы ведь знаете... Вы всё знаете. – Они снова шли по пустой аллее, и снова Закаатов касался рукава Веры, но теперь уже не замечал этого. – Что я мог вам дать, какую жизнь предложить? Ведь у меня даже не было доли в наследстве... Это ведь случай, что и отец, и старший брат умерли, оставив мне моё полудохлое Болотеево. Как я смел делать вам предложение, имея за плечами лишь жалованье подпоручика?

– Могли бы и рискнуть, – спокойно заметила Вера. – И, заметьте, ничего не потеряли бы при этом. И как знать... Может быть, мы были бы счастливы в этом вашем... полудохлом Болотееве.

– Но, Вера Николаевна... Ведь Иверзневы – известная семья, к вам сватались богатые люди... И вы в конце концов сделали блестящую партию...

– Боюсь, что эту партию, Никита, сделали за меня. Впрочем, какое это имеет значение?

Никита остановился. Не поднимая взгляда, мрачно сказал:

– Вера Николаевна, я никогда в жизни не поверю, что вас вынудили к этому браку! Кто мог взять на себя это? Ваша матушка, ваши братья, которые вас обожают?! Ведь ни Саша, ни Петька, ни Мишка не понимали, для чего вы вышли замуж за Тоневицкого! Все они не знали, что и думать! И я вместе с ними! Вы были гувернанткой у его детей – и вдруг... Этот неожиданный брак... Каковы причины?

– Я не буду объяснять их вам, Никита, – помолчав, сказала Вера. – Дело уж давнее, прошлое. И князя уже нет на этом свете. Скажу лишь, что у меня попросту не оказалось иного выхода.

– Вера Николаевна, но... Вы хотите сказать... – он умолк, набираясь наглости. – Вы служили гувернанткой в его доме. Неужели Тоневицкий осмелился?.. Ваша репутация... Вышло так, что он обязан оказался на вас... Именно поэтому ваши братья ничего не знают?! Даже Мишка?!

– Никита, у вас нет никакого права разговаривать так со мной, – ровно, без гнева перебила она, и Закатов опомнился.

Тяжело дыша, он пробормотал:

– Простите...

Вера грустно улыбнулась. Уже мягче продолжила:

– Тем более что дело сделано. И я даже успела овдоветь. Однако на мне по-прежнему мои дети...

– Вернее, дети Тоневицкого! – снова не удержался Никита. – Он очень удачно перепоручил их вам, умирая! А вы между тем всего на восемь лет взрослее своего старшего пасынка! Со стороны вашего супруга было бесчеловечно так обойтись с вами! Да ещё запретить вам новый брак до тех пор, пока дети не устроят свои судьбы!

– Никита, уймись. Никто мне ничего не запрещал. Князь, умирая, попросил меня об этом... И да, я дала слово. Потому что всё равно не могла бы поступить иначе. Вы, разумеется, можете думать обо мне любые гадости...

– Вера!

– ...но я согласилась на этот брак только ради детей. Только ради них... Если бы вы знали!

– Вера Николаевна, я просто скотина, простите меня, – грустно сказал Закатов. – Никогда в жизни я не смог бы подумать о вас гадости.

– Думаете, и ещё как. «Блестящая партия!»! «Князь обязан был жениться!»! Никита, Никита, вы ведь знаете меня с детства! – горестно упрекнула Вера. – Неужто вы в самом деле могли подумать, что мне нужны титул, деньги, все эти побрякушки... Ну что же вы за невозможный человек! Впрочем, не мне вас укорять. Столько сделано ошибок, столько глупостей... И ничего уж не вернуть. Да и вы давно женаты. Так что, пожалуй, придётся нам с вами обо всём забыть и тихо радоваться чужому счастью. Я уже смирилась, Никита. Теперь очередь за вами.

– А я не смирюсь никогда, – упрямо сказал Закатов, комкая в руке фуражку и не в силах посмотреть в блестящие от слёз глаза напротив. – Это невозможно, Вера Николаевна. Когда по собственной глупости теряешь самое дорогое, самое святое, что было в жизни... Когда всё могло бы быть иначе, не будь я таким ослом... Таким трусом... И что ж... Теперь я наказан по заслугам.

– Не гневите Бога, Никита. – Вера вытерла слёзы, улыбнулась. – Вы теперь семейный человек. Я видела вашу супругу. Она очень хороша собой. И если вы женились на ней, стало быть, у неё имеются и другие достоинства. Никита, милый, никогда не знаешь, как повернётся жизнь! Мне почему-то кажется, что вы ещё будете счастливы. Иначе... Иначе было бы слишком несправедливо.

– Вы верите в справедливость, Вера Николаевна?

– Да ведь больше ничего не остаётся. – Вера сорвала рябиновую гроздь, растёрла в пальцах несколько ягод, поднесла к губам. – Как всё-таки горчит... Идёмте к церкви, Никита Владимирович. Нас, кажется, уже хватились.

Никита молча предложил ей руку. Вера оперлась на его локоть, и вместе они пошли к церковной ограде. Закатов больше не смотрел на Веру, и только в висках бились слова, которыми она случайно обмолвилась: «Никита, милый... милый...»

– Куда вы теперь, Вера Николаевна? – спросил он, когда они вышли к гостям, уже рассаживающимся по экипажам.

– В свои Бобовины. – Вера уже была спокойна, безмятежна. – Остались кое-какие осенние хлопоты, надобно закончить. Зиму, видимо, придётся провести в Москве, девочек пора вывозить.

– В Москве? У вас в Столешниковом?

– Разумеется.

– Вы позволите навестить вас там?

– Нет, Никита. – Вера уже сидела в дрожках. – Не обижайтесь на меня, но... Право, вам не стоит приезжать. Мне это будет тяжело. Да и вам, я думаю, тоже не радостно. Вы ведь всё понимаете.

– Но, Вера...

– Прощайте, Никита Владимирович.

Закатов хотел сказать что-то ещё, но его окликнули. Пётр и Зося, весёлые, смеющиеся, в окружении семейства Браницких махали им из коляски. Молодые ехали в Петербург. Оттуда Пётр, оставив юную супругу на попечение семьи старшего брата, должен был вернуться в Варшаву. Вспомнив слова Веры о том, что теперь им только остаётся радоваться чужому счастью, Закатов в последний раз сжал в ладони холодные пальцы княгини Тоневицкой и, не оглядываясь более, пошёл к молодой паре.

Полчаса спустя, оставшись наконец один, Закатов медленно прошёл через старый парк к воротам имения. Было уже около десяти утра. Солнце давно поднялось над дальним лесом, нехотя осветив убранные поля. Сверху, из вышины, послышались отрывистые клики. Никита поднял голову и увидел, что небо пересекает чуть заметная, запоздалая цепочка улетающих гусей. «Как поздно они, однако, в этом году...» – подумал он.

... – Барин, да что же это за нелепие такое... – немедленно принялся ворчать Кузьма, когда Закатов извлёк его, сонного и облепленного соломой, из-под тарантаса. – Было слово, что на час всего вы до графа будете! Я и не выпрягал, и напоить не дал... Хоть бы распоряжение дать изволили! Лошадь – она ведь вам не человек, она от плохого обхождения очень даже околеть может! Шутка ль – всю ночь запряжённая простояла!

– Ладно, старина, не серчай: виноват уж, – усмехнулся Закатов. – Сейчас поедем. Так уж вышло. Дела...

Но Кузьму уже было не остановить:

– Дела-то делами, только барыня дома, поди, уж разума от беспокойства лишилась! Видано ли, супруг на час уехал, а всю ночь нету! В округе-то небось Стриж безобразит! Уж сколько бедствий было! Четвёртого дня только Истратиных управляющего дубиной по башке на дороге приложили да ограбили вчистую! Экие разбойники...

– Какие ещё разбойники, выдумал! – с досадой оборвал его Закатов. – У нас с тобой и взять-то нечего!

Он подошёл к тарантасу, намереваясь забраться внутрь, – и вдруг отпрянул, невольно выругавшись: из-под колеса на него смотрело чудовищно грязное, худое, глазастое лицо.

– И вот тоже ещё, девка откуда-то взялась! – продолжал бурчать Кузьма, возясь с упряжью. – Пришла и говорит: велено, дядя, здесь быть, потому твой барин меня в карты выиграл! Я, понятное дело, руки ей развязал. А всё ж не верится. «Поди, – говорю, – прочь, дура немытая! Врёшь ты! Наш барин отродясь не играл...»

– Всё правда, Кузьма. – Закатов наконец вспомнил о своей партии в вист. – Это Василиса, она теперь наша. Давай, Васёна, полезай в тарантас, на своих ногах ты всё равно не дойдёшь.

Василиса молча подчинилась, скользнув по лицу Закатова сумрачным взглядом. Кузьма сердито кивнул на её ноги, покрытые корками запёкшейся крови:

– Кто скотину не жалеет, кто людей... Тьфу! Ну, так едем, что ли, Никита Владимирович? Садитесь!

– Трогай, я пока так. – Никите отчаянно хотелось спать, но почему-то при мысли о том, что семь вёрст придётся ехать в тарантасе с глаза на глаз с этой Василисой, все мысли о сне пропали. – Дорога сухая, пройдусь.

– Как знаете.

Через десять минут старый скрипучий тарантас катился по пустой дороге. Кузьма взмахивал вожжами, вполголоса напевал песню. Закатов шёл рядом с лошадьми и слушал, как с неба, уносясь за лес, кричат гуси.

Когда тарантас, содрогаясь всеми членами, в последний раз взобрался на вершину холма, внизу открылся вид на Болотеево – село в две улочки серых, разваливающихся изб, крытых где соломой, где старым тёсом. Правда, две-три избы виднелись новых, да несколько явно отремонтировались. Церковь тоже была старая, с осевшей на один бок колокольной. Над куполом кружила, уныло каркая, стая ворон. Большой пруд, почти целиком затянутый ряской, топорщился ржавыми зарослями рогоза. Полуголые вётлы, казалось, цепляли сучьями рваные облака. Единственным светлым пятном в открывшейся панораме был новый господский дом над прудом, в котором настлали полы и навесили двери лишь месяц назад.

Старый родовой дом, в котором прошло его одинокое детство, Никита терпеть не мог. Когда два года назад он, уже хозяином, вернулся в Болотеево, то долго не мог спокойно засыпать в отцовской комнате. Всё здесь напоминало об одиночестве и старости: отстававшие от стен штофные обои, потёки свечного сала на ветхой скатерти, засиженные мухами окна и траченные молью портьеры екатерининских времён. Всё хотелось выбросить и сжечь.

Молодая супруга Никиты, прибыв в Болотеево после венчания, прошла по крошечным комнатам дома, старательно отмытым и отскобленным дворовыми к приезду новой барыни, глубоко вздохнула и обратилась к мужу напрямик:

– Друг мой, но здесь же жить нельзя!

– Я знаю, – честно согласился он. – Но другого дома у меня нет, и вы об этом знали и ранее.

– Разумеется! Но для чего же до смерти в этом мучиться? Вы – хозяин, и решать вам, но почему бы не построить новый дом?

Закатов страшно растерялся.

– Но... как же это можно?

– Боже мой, да очень просто! – пожала Настя плечами, в упор глядя на него своими раскосыми глазами ногайской княжны. – Лес – свой, лошади – свои, мужикам назначите барщину! Что в этом невозможного?

Закатов не знал, что ей ответить. Но жена ждала, пристально глядя на него, и Никита решил:

– Что ж... Тогда дождёмся весны.

Она кивнула – и отправилась смотреть на дворню.

«Никита Владимирович, я вас, боже упаси, учить не берусь, каждый человек в своём доме хозяин, – резко сказала Настя, придя тем же вечером в кабинет мужа. – Но объяснитесь! Для чего, с какой целью было доводить своих людей до такого? Сегодня Варька в девичьей уронила на пол кросны, они сломались. Так у неё сущий припадок начался! Выла и головой о лавку колотилась так, что впору отливать было! Я с перепугу ничего не могла понять, сама с рук её мятной водой отпаивала! Что с тобой, дура, кричу, что это за истерика такая? А она знай себе вопит как резаная: «Барыня, помилуйте! Барыня, виновата, помилосердствуйте!» В конце концов так мне это надоело, что я те проклятые кросны через колено сломала! И бог с ними, кричу, не реви только, стоят ли они того, деревяшка! Никита Владимирович, что тут творилось у вас?!»

В ту ночь Никита рассказал молодой жене обо всём. О том, что он никогда не считал Болотеево своим владением. О том, что здесь всем ведала управляющая, которая выжимала из мужиков и дворни последние соки.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.